

альбан
николай
хербст

корабль
греза

Р О М А Н



Альбан Николай Хербст

Корабль-греза

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70113163

*Корабль-греза / Хербст Альбан Николай. Пер. с нем., коммент.,
послесловие Т. А. Баскаковой: Издательство Ивана Лимбаха; Санкт-
Петербург; 2022
ISBN 978-5-89059-473-0*

Аннотация

Туристический лайнер – «корабль-греза», как называет его рассказчик этой истории, – совершает круиз по Индийскому и Атлантическому океанам. Но для человека, который заморожен этим плаванием и давно не сходит на берег, пунктом прибытия станет смерть...

Еще раз, теперь в начале XXI века, в романе, вобравшем в себя опыт модернизма, постмодернизма и постпостмодернизма (создателем которого считается его автор, Альбан Николай Хербст), перед нами предстает морское путешествие как емкая метафора человеческой жизни, известная со времен древнеегипетской «Сказки о потерпевшем кораблекрушение» и гомеровской «Одиссеи».

Содержание

33°14' ю. ш. / 13°20' в. д	8
32°30' ю. ш. / 7°30' в. д	18
24°31' ю. ш. / 3°20' з. д	28
15°55' ю. ш. / 5°43' з. д	41
14°4' ю. ш. / 7°40' з. д	56
10°59' ю. ш. / 12°13' з. д	77
7°59' ю. ш. / 14°22' з. д	97
7°33' ю. ш. / 15°7' з. д	105
2°49' ю. ш. / 16°45' з. д	131
Конец ознакомительного фрагмента.	136

Альбан Николай Хербст

Корабль-греза

*Чахлый тростник покинуть,
который кажется сонным,
и обратить взгляд к формам
выветривающейся жизни.*

Монтале.

Панцири каракатиц, № 3

Alban Nikolai Herbst

Traumschiff



Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой



© 2015 by mareverlag, Hamburg

© Т. А. Баскакова, перевод, комментарий, статья, 2022

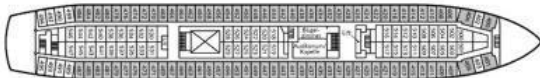
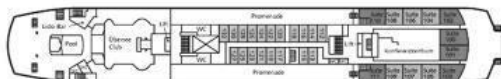
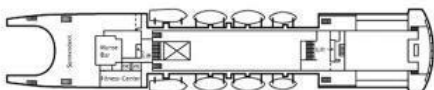
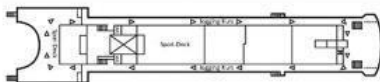
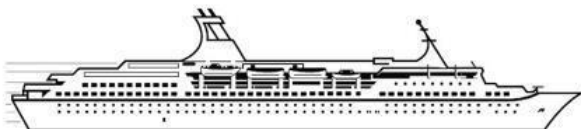
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2022

© Издательство Ивана Лимбаха, 2022



Перевод этой книги осуществлен при поддержке Гёте-Института

The translation of this work was supported by a grant from the Goethe-Institut



33°14' ю. ш. / 13°20' в. д

Долгое время я думал, что мы друг друга распознаём. Но это не так. Мы лишь понимаем друг друга. Все-таки я всегда стою, прислонившись к леерному ограждению прогулочной палубы, когда пассажиры покидают наш корабль-грезу. И когда производится посадка новых, очень внимательно приглядываюсь к каждому человеку. Как он ставит ногу на трап, к примеру, – твердо или неуверенно. Держится ли за поручни.

Многие больны. Другие уже и ходить-то толком не могут и передвигаются с помощью ходунков.

Я хочу знать, обладает ли кто-то уже сейчас Сознанием.

Я им обладаю со времени Барселоны. Оставшейся далеко позади.

Сто сорок четыре пассажира – из четырехсот, пятисот. Это треть или по меньшей мере четверть. Как же можно не распознать друг друга?

«Прошное». Какое мягкое слово. «Настоящее». Какое жесткое. Оно обозначает всё то, что есть. – Но разве также и не всё, что было? Знают ли об этом, спрашиваю я себя, вот эти люди? По каким признакам я распознаю, что знают? И распознают ли они меня?

Если взгляд новенького случайно и поднимется ко мне, то по большей части на мне не задерживается. Как если бы меня вообще не было или во мне не было бы ничего приме-

чательного. Что, в общем, соответствует действительности. Ничего примечательного во мне нет. — Единственным, кто заметил меня сразу, причем еще прежде, чем я его, — был мсье Байун. Он и здесь оказался проворнее, опередил меня.

Моя спина. Плечо. Нога. Из-за трости госпожи Зайферт маленькие припухлости у основания пальцев на правой ладони превратились в мозоли. Даже кольцо жмет. Я, между прочим, не помню, почему все еще ношу его. От кого я его получил? Но оно красивое, само собой, — с этим топазом цвета среды.

А вот трость, хоть она и приятна на вид, я не люблю.

У мсье Байуна я никаких немощей не замечал. Мы с ним ни о чем подобном не говорили. Я бы и подумать такое о нем не мог. Его кожа мерцала, словно полированные кофейные зерна. А когда он смеялся, нельзя было не рассмеяться вместе с ним. Так сверкали его кривоватые, но, невзирая на пристрастие к сигариллам, жемчужно-белые зубы. Он долго жил в Марселе, рассказал он мне. Раньше его отец с такой страстью участвовал в беспорядках, что матери, вместе с ним, пришлось бежать аж дотуда. *Пусти стрелы Твои и расстрой их!* — часто восклицал он.

Всякий раз, когда мсье Байун упоминал отца, чувствовалось, что он им гордится. Мой же отец, которого я не знаю, всю жизнь вызывал у меня чувство неловкости.

Я невольно подумал: не из-за деликатности ли нам так трудно распознать друг друга? Я даже постоянно об этом ду-

маю. Ведь, с другой стороны, она необходима. Это связано не столько с собственной гордостью, сколько с уважением к другому. Хотя и ради себя самого тоже не станешь жаловаться. Это было бы безвкусицей – выставять свою неспособность напоказ. Боюсь, что Сознанием обладают только те, кто не позволяет другим заметить их страдания.

Но, может, есть какой-то характерный взгляд. Может, жест. Определенное движение век. Или – насколько сосредоточенно человек поглощает пищу. Именно на такие вещи я обращаю внимание, когда смотрю на новых пассажиров. Со шлюпочной палубы – вниз, на заборный трап.

Тем не менее я не люблю дни посадки на борт. Они слишком беспокойны для меня. Это начинается уже в день высадки на берег. Проходит как минимум три дня, прежде чем мы снова отчаливаем. На судне – буквально всё вверх тормашками. Так основательно здесь занимаются уборкой, мелким ремонтом и готовятся к встрече новеньких. Ни одного тихого уголка уже не найти. Тебя постоянно гоняют с места на место.

Те, кто не покидает судно, должны относиться к обладающим Сознанием – неужели я подумал: *к нам?* За такой мыслью все еще скрывалось желание. Я еще не был готов. Может, это и есть решающий признак. Когда мсье Байун вдруг отдалился от меня, мне следовало насторожиться. Тогда я был бы заранее подготовлен. А так его уход, можно сказать, меня несколько шокировал.

Но сейчас меня интересуют новенькие. Не относится ли и кто-то из них.

Мсье Байун – последний, кто был высажен с судна. В Ницце. Однако неправильно писать «последний», с окончанием – *ий*. То, что они снесли вниз по забортному трапу, было лишь его телом. Я никогда не строил себе иллюзий.

Носилки, ясное дело, были накрыты тканью. Их погрузили в похоронный автомобиль. Он уже сколько-то времени стоял у причала. Тоже – более чем деликатно. Пассажиры не желают ничего знать об умирании. Все они хотят жить и должны зарабатывать деньги. Поэтому смерть не выставляют напоказ – даже тогда, когда все пассажиры уже покинули судно. Операторов круиза я понимаю. Запрет относится и к ним. Они обязаны молчать.

Но чем дольше я здесь нахожусь, тем загадочнее для меня, почему они примирились с нашим присутствием. Мы занимаем каюты, места в которых они, не будь нас, могли бы продавать. К примеру, сам я резервировал для себя каюту только один раз. Я и заплатил только за одно путешествие. Однако с тех пор я уже не покидал корабль-грезу. И все же никто не требует с меня новых денег. Нас терпят, не говоря ни слова. Как, к примеру, необходимость дышать или то, что сегодня слишком жарко.

Хотя, вообще-то, для этого морского региона – очень даже прохладно.

Так что я тоже решил молчать. Если бы не мсье Байун, у меня возникли бы большие сомнения, стоит ли вообще говорить о некоем «мы». Но он продемонстрировал мне, что кроме меня имеются и другие, кто обладает Сознанием. Он иногда кивал в их сторону, а в редких случаях и показывал на них. Именно чтобы освободить меня от сомнений. Это ведь не только в персональном смысле очень важно – чтобы человек чувствовал уверенность в себе. Пока это не достигнуто, ты остаешься на корабле-грезе.

Сто сорок четыре кирпичика.

В определенной мере дни высадки и посадки пассажиров по-своему интересны. К примеру, после того, как отъехал тот похоронный автомобиль. Тогда на пристани поставили большую палатку с плоским верхом. Так делают в маленьких гаванях наподобие Ниццы, где нет круизного терминала. В таких палатках регистрируют новых пассажиров. Там они заявляют о себе, там между ними распределяют – или подтверждают – номера кают. Там же поначалу складывают багаж. Часто он громоздится штабелями, даже и снаружи. Пока не приходят бирманцы, чтобы разнести его по соответствующим каютам. По большей части это делают бирманцы. Иногда – филиппинцы, живущие где-то глубоко в недрах лайнера.

Пассажиры, после того как зарегистрировались, собира-

ются в лаунж-холле. Там им подносят по бокалу коктейля. Капитан произносит короткую приветственную речь. Потом представляет членов экипажа. Играет эстрадный оркестр. Мне он внушает ужас. Но связано это не с музыкантами. А с их песнями.

Прежде я любил легкую музыку. Даже после Барселоны еще ходил каждый вечер смотреть эти шоу. Но развлекательная музыка препятствует Сознанию. Для чего, собственно, и существует – в отличие от ветра, и волн, и тихо рокочущего мотора. Как только я это понял, она стала для меня невыносимой. И оставалась такой – на протяжении месяцев, а может, даже и лет. Сказать об этом точнее я сегодня не сумею. Тот момент был без контуров. Но когда-то потом я заключил с ней мир. Без ее банальностей людей не понять. Те же, кто обладает Сознанием, уже не вполне относятся к людям.

Само собой, я не вовсе лишен знакомств. Поначалу даже постоянно заводил новые, во всяком случае – пока не познакомился с мсье Байуном. «Человеком раннего лета» назвал он меня при первой нашей встрече. *Люди раннего лета* никогда не остаются в одиночестве. Ведь лето, сказал он, всегда простирается *перед* нами, а зима – позади.

Поэтому теперь, когда его нет, я снова буду заводить знакомства. Невзирая на мое молчание. Некоторые пассажиры заговаривают со мной, когда, к примеру, мы сидим в ресторане. Я, правда, теперь бываю там редко. Может, я и там ищу только намеков на мсье Байуна. Не перешло ли что-то от него

– на них. Я знаю, что это неправильно. Это отягощает новые знакомства. Но, так или иначе, вести разговоры – изнутри Сознания – с нормальными людьми едва ли возможно. Поэтому они вскоре отдаляются от меня. Я, со своей стороны, так же быстро в них разочаровываюсь. Мне не хватает на них терпения. Только между мсье Байуном и мной взаимопонимание возникло сразу же. Так это и оставалось до самого конца. Пока и он тоже не отдалился.

Это опять-таки только слово – «конец». Как если бы окончание было внезапным. Как если бы все на самом деле не *истекало*, очень медленно. Даже если наращивается не только Сознание, мы все – по нарастающей – становимся более легкими. В конце мы как ручеек, впадающий в море. И пусть никто не рассказывает мне сказки, будто от мсье Байуна там что-то еще сохранилось. В море никаких душ нет. Оно само – душа.

В похоронном автомобиле уехало что-то, чего прежде в таком виде не существовало.

Многие пассажиры – примерно мои ровесники, некоторые даже старше. В том, как они пьют в лаунж-холле свои коктейли, проглядывает их желание – в последующие дни и недели в любом случае получать удовольствие. Тут же стоят серебряные барышни. Они держат на серебряных подносах уже следующие бокалы. Однако мсье Байун с этим не согласился. С тем, значит, что барышни здесь для всех. А именно:

он сказал, что их видел только я. А вы разве нет? – спросил я, поскольку тогда я еще говорил. Я их больше не вижу, ответил он, с ударением на «больше». Они нас просто приветствуют своими сокровенными жемчужинами. От такой формулировки он невольно сам рассмеялся, с сигариллой в зубах. Эти глаза, спросил, разве не поразили вас?

Не скажи он такого, я в конце концов принял бы упомянутых барышень за галлюцинацию. И действительно, я их потом ни разу не видел. Когда я заговорил с одной из них, она промолчала. Но все же искренне улыбнулась мне. Чудными большими глазами.

Иногда я обнаруживаю среди пассажиров какую-нибудь семейную пару, помоложе. Тогда я думаю, что им не довелось иметь детей. Круизы – вещь дорогая, во всяком случае для тех, кто в конечном итоге отправится восвояси.

«Конечно», «конец», «конечные люди». Сквозь наши привычные выражения промелькивают летучие тени. Для переходов у нас вообще нет слов. Это, само собой, связано среди прочего и с тем, что после нескольких недель на море ты едва ли способен замечать переходы. Не уходит ли как раз тот, кто остается? Я неизменно остаюсь на борту. Чтобы в конце концов действительно уйти. Были ли у меня дети? У меня есть сын.

Тем не менее я уверен, что поднялся на борт здоровым. В отличие от большинства остальных. Эти неприятности с плечом, из-за сердца, начались только здесь – и с ногой осо-

бенно. Потому госпожа Зайферт и подарила мне трость. Я, правда, уже не помню послания, которым она ее сопровождала. Наверняка та записочка все еще лежит у меня в каюте. Может, при случае я ее поищу.

Лучше бы прямо сейчас. Пока опять не забыл.

Этот свет сегодня!

Что я так долго мог не думать о госпоже Зайферт.

Она была острой на язык, пышущей здоровьем женщиной, иногда производящей довольно двусмысленное впечатление. В ширину почти такая же, как в полный рост, но роста *маленького*. При этом удивительно подвижная. – Что еще я могу о ней вспомнить? Моя бабушка назвала бы ее *распутницей*.

Ее щеки всегда пылали. Палубу юта она покидала практически только когда отправлялась спать. Даже когда было холодно, сидела там до поздней ночи.

Она курила.

Мы все ее любили. С каких пор ее здесь нет, я уже не помню.

Что было прежде и что еще придет, внутри Сознания погружается на дно. Но все погружается очень медленно. Мы присматриваемся к ним, к этим вещам, и думаем, как хорошо они держатся на плаву. Для этого есть специальное слово – когда что-то герметизируют, защищая от моря. «Конопатить». Мы думаем, что конопатили себя. Я тоже так думал.

Пока не решил остаться здесь насовсем.

Мсье Байун ли рассказал мне, что нас сто сорок четыре? Должны же они дать распознать себя, если все они не покидают борт судна!

Что к ним, к *нам*, относится и госпожа Зайферт, я понял лишь задним числом. Когда ее уже не было. Если бы она покинула корабль, спустившись по трапу, я бы это заметил. Среди прочего и поэтому я всегда за всем наблюдаю. За каждым отправлением на береговую экскурсию – тоже.

Если гавань слишком мелкая для нашего корабля-грезы, пассажиры рассаживаются по тендерным шлюпкам. То же самое – если гавани нет вообще, а только мол. Как было недавно в Мосселбае или как бывает на очень маленьких островах. Когда мы стояли на рейде перед Сан-Феликсом? Это другая сторона мира. Почти все, что в нем есть, я уже повидал. Но сам я больше никогда не покидаю корабль.

32°30′ ю. ш. / 7°30′ в. д

Вот так сюрприз. Только что кто-то подсел ко мне, взял мою руку и притворился, будто знаком со мной. Море сегодня совершенно гладкое, хотя небо затянуто облаками. Но вода светится. Несмотря на порывистый ветер и хотя нас сильно качает. Однако нет ни единого пенного гребня, который вспыхивал бы на волнах.

Я забыл солнечные очки в каюте. Думаю, обойдусь обычными.

Но она ведь моя жена, заявила эта персона.

Что мне оставалось? Я не хотел показаться грубияном. Только поэтому не отдернул руку. Но основой для разговора что-то подобное, конечно, стать не может. Поэтому я не прореагировал даже тогда, когда мой визитер расплакался. Что, конечно же, означает: он не обладает Сознанием. Уже хотя бы поэтому мы не смогли объясниться друг с другом. Охотнее всего я бы сказал этой женщине, чтобы она, пожалуйста, успокоилась. Прислушайтесь к ветру, хотел бы я ей сказать. И еще – что это выглядит странно: так много ветра и совсем никаких волн. Так много говорения и совсем никакого Сознания.

Что из-за этого кто-то плачет, как раз нетрудно понять.

А вот с мсье Байуном, напротив, у меня всегда было ощущение, что я давно его знаю. Как когда встречаешь кого-то

спустя десятилетия. Как когда узнаешь кого-то из времен своей юности. Но последнее, разумеется, невозможно – уже хотя бы потому, что он родом из Марокко. Да и на борт нашего судна он поднялся только в Танжере. У нас там было превосходное причальное место. Подняв глаза, я мог видеть Касбу, а мог и наблюдать за пассажирами внизу. Как они возвращаются из города. Тогда-то мсье Байун и взглянул на меня, снизу вверх.

Новый пассажир, только и подумал я. Но он все не отводил взгляда.

Я почувствовал потребность пойти ему навстречу. Но боялся, что навоображал себе лишнего. Поэтому первым заговорил он. Всего два слова: *Vous aussi*¹. Это могло бы быть вопросом. Но было утверждением. Я попытался вспомнить свой французский. Я всегда вспоминаю его сразу, но только в той мере, что все понимаю. А вот говорить для меня большая проблема. Ты понимаешь, но не можешь ответить – во всяком случае, быстро. Тем более, что я знал: ответ будет непростым. Все же я попытался, но оборвал фразу на середине. Я все еще точно помню, как я ответил ему – попросту по-немецки.

На палубе толпились люди. Когда мы покидаем очередную гавань, на палубе юта всегда устраивается празднество. *Goodby-Party*², так они это называют. Задействованным ока-

¹ Вы тоже (фр.). Здесь и далее примеч. пер.

² Прощальная вечеринка (англ.).

зывается весь персонал службы развлечений. Они танцуют и поют, в честь все уменьшающегося города и ради пассажиров. А те, в свою очередь, тоже танцуют и всячески выкаблучиваются, поскольку хотят быть причастными к веселью. Отбивают такт, хлопая в ладоши. Однако не серебряные барышни, а кельнерши и кельнеры, в ливреях, ходят между ними с подносами.

По большей части они родом из Восточной Европы, часто – из Украины или Молдовы, где люди соглашались на маленькую зарплату и тем не менее благодарны, что получили работу. Как бы там ни было, из всех усилителей грозили и громыхали неувядающие шлягеры и танцевальная музыка – пока мы двигались назад по проливу. Тогда курс наш лежал к Египту, если я правильно помню.

Я боялся, что я один такой, сказал я. Как будет «бояться» по-французски? *Avoir peur*, сказал он. Это я точно помню. *Vous aviez peur que vous soyez seul*³. Но вы такой отнюдь не один. И все же последний шаг мы делаем друг без друга. Мы переступаем через этот порог *каждое* само по себе. Меня сразу же поразило это «каждое». Но объяснялось оно, конечно, его плохим немецким. Однако, продолжал он, нас объединяет то, что мы это знаем и этого хотим. Это он тоже произнес по-немецки. Ситуация сложилась довольно странная. Он сказал и еще кое-что. Тем более что вы, сказал он, как и я, – человек раннего лета.

³ Вы боялись, что вы один такой (*фр.*).

С этого началась наша дружба.

Вправе ли я называть так то, что было между нами?

Погрузиться в структуры волн. И – что у меня есть ногти. Что мсье Байун был бербером, это он рассказал позднее, не при первом нашем разговоре, – но употребил слово *амазиг*⁴. И еще: что море – как пустыня, куда его отец ускакал на коне, один, чтобы разыскать там Всемиловейшего. Поскольку час его к тому времени уже пробил, он оттуда не вернулся.

Не помню, рассказывал ли это мсье Байун по-немецки или опять по-французски. Или на каком-то еще наречии, которое понимаем только мы двое и те другие, которых сто сорок два. Если мой друг не ошибся, в Ницце на борт должен был подняться новый пассажир. Чтобы число оставалось неизменным. Когда один из нас уходит, всегда прибавляется новый *сознающий*.

Для большинства установка Сознания вообще происходит только на корабле. Со мной это произошло в Барселоне, во время первого путешествия. Ницца. С Ниццы круиз и начался. Именно с нее.

Я должен подумать.

Какой у нас был маршрут?

Из Ниццы – в Кальви, оттуда – в Ольбию и дальше до Неаполя. Может такое быть? Из Неаполя, однако, – к Стромболи. Высадиться оказалось невозможно, слишком сильный сирокко. Волны взмывали так высоко, что внешние двери за-

⁴ *Амазиг* («свободный человек») – самоназвание берберов.

перли. Но я бы все равно не смог выйти. Мне было настолько плохо, что я едва мог пошевелиться. Я тогда впервые пережил приступ морской болезни, но потом такого больше не случилось. И прежде тоже нет, когда этот – как бишь его? – приглашал меня покататься на яхте. Парусный спорт я всегда любил. Но сам права на вождение яхты не выправил. Был слишком занят полупроводниками. На мечтания времени не хватало.

Потом мы двинулись дальше, в Палермо, и наискось через Средиземное море – до Барселоны. Палермо я еще успел посмотреть. Правда, я хотел и по Барселоне прогуляться, даже и приготовился. На шлюпочной палубе стоял, только чтобы не давиться в очередях. Между прогулочной и Атлантической палубами трапы были сплошь забиты людьми.

Тогда-то я все понял и остался на судне. И впервые задался вопросом, один ли я здесь такой. Когда мы снова отчаливали, чтобы идти дальше к Ивисе.

Я и в Валенсии оставался на борту, и в Танжере, сиявшем полным вторничным блеском. Где на корабль поднялся мсье Байун, который, однако, *уже* обладал Сознанием. Почему у меня и возникает порой ощущение, что он был послан сюда исключительно ради меня. Хотя он, как мне помнится, был не один.

Сопровождавшая его дама привлекла мое внимание широкополой шляпой и ярко-красными кудрявыми волосами. Такой я представлял себе женщину кельтских кровей. Могу-

чая, как валькирия. Я сперва подумал, что она поет в опере трагедийные партии. – Я и теперь иногда ее вижу. Как она шагает вдоль леерного ограждения, неизменно в этой шляпе, неизменно сопровождаемая кем-то. Часто слышно, как она смеется. Но ее лица я не могу разглядеть из-за вуали. Которую она опускает всякий раз, когда выходит из «Заокеанского клуба».

Тогда, с мсье Байуном, она охотно прогуливалась по утрам. Что выглядело немного комично: грациозный мужчина и громадная женщина. От меня она держалась на отдалении, даже и после Ниццы. Сам же мсье Байун о ней никогда со мной не говорил. У меня сложилось впечатление, что он хочет сохранить ее для себя одного. Я относился к этому с уважением. Ведь Сознанием я обладал прежде, чем появился он.

Откуда он знал все то, что связано со ста сорока четырьмя? «Воробыи», странно. Китайское домино мсье Байуна. Но называть так маджонг неправильно. С домино эта игра не имеет ничего общего. Хотя и в ней фишки называются «кирпичиками». Взгляните, сказал мсье Байун, приподнимая одну из пластиночек. Она из настоящей китовой кости. А бывает, сказал он, что такие штуки делают и из человеческих костей.

Что станет с нашими ногтями? – спросил тогда я себя. Нелегко по-настоящему постичь тело, хотя бы и свое соб-

ственное. Это даже намного труднее, чем понять душу. В каком тесном родстве она с ним находится, мы замечаем только тогда, когда оно на грани изнеможения. Как пришиты к нему наши глаза. Как крепко пристегнута душа к каждому мускулу.

У меня слабое место – нога; и немножко, из-за сердца, плечо. У других – глаза, или зубы, или всё вместе. Так в море образуются бледные пятна. Но *эти* пятна бледнеют все больше. Пока не превращаются в дыры. Через которые Сознание смотрит на море и наблюдает за собственным разжижением. Один крепкий участок за другим разжижается и вытекает из нас. Мы слышим все хуже, наше обоняние хиреет. Только ногти, как говорят, еще долго продолжают расти.

Конечно, никто не хочет выставлять себя на посмешище. Иногда, я думаю, это вопрос деликатности. В отличие от других пассажиров мы ничего не знаем о своем прибытии – ни о времени, ни о месте. И не хотели бы оскорбить чью-то стыдливость. Уже одно то, что я написал слово «прибытие», есть выражение такого рода стыдливости. И нашего страха. Потому что это неправда, будто время «течет». Оно-то как раз стоит на месте, а корабль движется сквозь него, насквозь.

Мы очень много смеялись, мсье Байун и я, потому что никто другой этого не замечал. Потому-то мы и смогли распознать друг друга. Так ведь не получается, чтобы человек не ужаснулся, когда Сознание устанавливается впервые. Когда

тебе внезапно со всей ясностью открывается, что именно с тобой происходит.

Припоминаю, что меня тогда охватила мрачнейшая меланхолия. Она продержалась от Барселоны до Танжера. Прежде я был жизнерадостным человеком. Хотя бы по профессиональным соображениям для самокопания у меня вообще не было времени. А значит, и соответствующего пространства. Заниматься полупроводниками я начал еще с молодых лет. Они десятилетиями кормили меня. Пока не появились те самые китайцы и мне не пришлось продать фирму. Попросту, потому что они... – для этого есть специальное слово. Для Германии я тогда уже наладил структуры сбыта. Конечно, и фирма «Сименс» хотела заключить договор. «Сименс» ли? Но именно в тот момент, из-за Гизелы, Петра затеяла бракоразводный процесс. Из-за нее – среди прочего.

Все это теперь не имеет значения.

*Manpower*⁵, верно. Потому что у них ее до фиги. Так что я, вероятно, вовсе и не был хорошим человеком.

*Мужская сила*⁶. Очень многое кажется остроумным, но на самом деле совсем не смешно.

Какое отношение все это имеет к маджонгу? С тех пор как мсье Байун исчез, игра стоит нетронутая в моей каюте. Сто

⁵ Рабочая сила, живая сила, людские ресурсы (англ.).

⁶ *Мужская сила* (Manneskraft) – буквальный перевод на немецкий английского выражения *Manpower*.

сорок четыре кости лежат в выдвижных ящиках сундучка – по его словам, сделанного из *куриноперьевой древесины*. Тяжелый сундучок: темный, как ночь, лакированный и внутри оббитый синим, опять же как ночь, бархатом. Синева, какая бывает вечером в среду. С помощью маленького замочка можно запереть две дверцы перед выдвижными ящиками.

Иногда думаю, что я – самый старый на этом корабле. А ведь мне лишь в следующем году предстоит отпраздновать семидесятилетие. Разумеется, праздновать я не буду.

Кому же я передам воробынью игру?

Я ведь уже понял, что в этом состоит моя задача. Уйти было бы чудесно, если бы я ее выполнил. Окруженный водой, я просто плыл бы, даже не замечая этого.

Только что я долго смотрел на гигантские уши одного старика, удивленно, испуганно. Я смотрел на них сзади, и они были пунцовыми, четвергово-пунцовыми. Так просвечивал сквозь них свет. И я подумал: я их не понимаю. А ведь все сводится именно к этому. К тому, например, чтобы понять эти уши.

Что я вообще понимаю?

Что истинно? Что фальшиво?

«Слепой пассажир» приземлился на верхнюю палубу, измученный долгим полетом. Воробей. Так далеко от земли дрожал он у нашей стальной бортовой стенки. Он притулился

ся к ней и расправил крылышки, чтобы высушить их. Крошечные легкие ходили ходуном.

Один индеец из обслуживающего персонала наклонился над ним и погладил двумя пальцами по перышкам. Потом ушел, но вскоре вернулся с салфеткой. Ею он подхватил птицу и спрятал у себя на груди. Придерживая рукой салфетку и воробья под ней, понес его к себе. Возле ближайшего берега он выпустит птичку на волю.

24°31' ю. ш. / 3°20' з. д

Если время на самом деле стоит неподвижно, а мы движемся сквозь него, тогда мы, конечно, многое теряем из виду. В пространстве всё точно так же. Какой-нибудь город, к примеру, ты за сто километров от него уже не видишь, да даже и за тридцать. Людей мы не различаем уже за восьмьсот метров. Никто не замечает, что Земля вертится, и мы, по крайней мере раз в сутки, стоим вниз головой. Это, конечно, к лучшему. Иначе мы бы боялись, что навсегда упадем вниз, в мировое пространство.

К примеру, можно сказать, что души на самом деле кувырком летят вниз, а не возносятся на небо. Это было бы гораздо логичнее. Наверное, это и имеется в виду, когда говорят, что мы порой роняем себя.

Значит, если я время от времени что-то забываю, причина заключается в том, что мое пространство от этого отдалилось. Я и сам двигаюсь внутри своего пространства, как очень маленькая частичка того, что, как некая целостность, движется сквозь время. Почему мне и вспомнилась невольно одна книжка из времен моей юности, доходчиво объясняющая теорию относительности. К примеру, мы видим движущийся поезд. Внутри него идет человек, по направлению движения. Может, ему нужно в туалет. Или он проголодался и хочет в бистро. Хотя он вовсе не спешит, движется он

быстрее поезда. Правда, это так выглядит, только если смотреть на него снаружи. В самом поезде он идет нормально.

Точно так же обстоит дело с Сознанием. Кто обладает им, тот видит себя снаружи, хотя одновременно пребывает внутри. Потому он действительно понимает, что происходит. Правда, из-за этого мне кажется, будто я постоянно нахожусь под наблюдением. Потому что наблюдаю я не только за другими, но точно так же – и за самим собой.

Завтра мы встанем на рейд напротив Святой Елены. Я опять буду, облокотившись о леер, смотреть, как спускают на воду тендерные шлюпки. Потом, когда все туристы сойдут на берег, для нас начнется тишина. Правда, в коридорах из-за ковровых дорожек шагов в любом случае не слышно. Но теперь и на палубе юта внезапно воцарится покой, ведь оставшиеся на судне пассажиры обычно почти не двигаются. И музыка уже не играет. Все только смотрят, как и я, на море и на берег. И все мы вместе – один-единственный взгляд.

Сам наш корабль-греза – время.

Над нами кричат чайки, под ними носятся взад-вперед кельнеры. Тоже почти беззвучно. Наше спокойное покачивание поддерживает их под локоток, приобнимает за талию. Любая мысль – лишь беглое завихрение песка. Она сама ведь и есть песок. Как и принадлежность к «мы», как и вода. Так что мы, можно сказать, уже поднимаемся вверх, все вместе, в тот самый момент, когда падаем.

Все это – долгие моменты одного из последних приготовлений. Только неправда, будто теперь, еще раз, вся жизнь проходит перед нашим внутренним взором. Этого не произойдет, даже если мы прикроем веки, хоть и будем по-прежнему смотреть на море. Они ведь не экраны, наши веки. И ни один зрачок не станет кинопроектором. Нет: если снаружи тишина, то и внутри тьма.

А поскольку у кельнерш складывается впечатление, будто мы спим, они уже и не спрашивают, не хотим ли мы чего-нибудь еще. Хотя в других случаях на палубе юта девушки из обслуживающего персонала задают такие вопросы постоянно. Или они всякий раз, пробегая мимо, цепляются к тебе. Тогда приходится лечь, хотя мне куда приятней сидеть. Или Татьяна вдруг заявляет, что солнце мне не полезно. Поэтому она часто надевает мне что-то на голову, когда я покидаю каюту.

Я мог бы протестовать. Но если я ей больше нравлюсь в шапке, то почему бы и не доставить ей удовольствие. Или – если она находит красивым, чтобы я вечером обвертывал шею шарфом. Так что я позволяю, чтобы она надела мне шапку, а на плечи набросила шарф.

Кроме того, Татьяна часто боится, что я слишком мало ем. А ведь я просто по большей части не испытываю голода. И только поэтому ем мало. Какую-нибудь малость поутру, и только вечером – что-то горячее. Среди прочего и потому, что сам процесс еды меня напрягает и что я не хотел

бы подолгу спать. Отсутствие аппетита тут совершенно ни при чем. Наоборот, сегодня я ценю хорошую пищу гораздо больше, чем прежде.

Как раз на корабле я не хотел быть неразборчивым, ведь здесь на протяжении дня трапезничают шесть, а то и семь раз. Я всякий раз удивляюсь: сколько способен съесть человек. Уже одно это – причина моего отчуждения. Они набивают себе желудок без всякой меры. Я видел тарелки с такой горой пищи, что мне от одного их вида делалось дурно.

Поэтому в часы общих трапез я избегаю и «Заокеанского клуба», и ресторана «Вальдорф».

Но когда мы остаемся в своем кругу, такого – чтобы меня принуждали есть – не происходит.

Пока другие не вернулись с экскурсий, можно мирно лежать на палубе. Так что теперь я мог бы присмотреться к оставшимся. Ведь только тот, кто никогда не покидает корабль, может относиться к нам. Записывал ли я это?

Однако не все сто сорок четыре уже обладают Сознанием. В этом проблема. У некоторых оно устанавливается лишь в какой-то момент. Но поскольку другие им уже обладают, было бы бессмысленно, к примеру, просто пересчитывать оставшихся. Тем не менее может наступить такой день, когда действительно на берег не сойдут только эти сто сорок четыре. Тогда сразу стало бы ясно, к кому я отношусь. И я мог бы завязывать контакты, не испытывая постоянных сомнений. Ибо каждый из этих людей тотчас понял бы, о чем я гово-

рю. Тогда говорение снова получило бы смысл, потому что я тоже понимал бы других. Тогда мне не пришлось бы вести разговоры с самим собой. Я их и записываю только потому, что это дает мне ощущение, будто я к кому-то обращаюсь. Например, к старому другу или к давней знакомой. Вот она вынимает конверт из почтового ящика и очень тронута тем, что даже в своей отдаленности я подумал о ней. Ведь она такого и предположить не могла.

Но для начала она приготовит себе, в своей квартирке на третьем этаже слева, чашечку кофе. Прежде чем возьмет иссиня-черный нож для вскрытия писем, который мы привезли из Кении. Ручная работа, эбеновое дерево. Правда, Гизела не пила никакого кофе, а всегда только чай, Earl Grey. Она всегда пахла бергамотом. Действительно, вся целиком, даже в ванне.

Если от нее не разило псиной, как под конец и от всей ее квартиры.

Итак, поэтому она ждет, чтобы закипел чайник.

Но поскольку я оставил ее, я наверняка пишу кому-то другому. Тем не менее пересчитать всех – хорошая идея.

Только этого недостаточно.

Будь у меня клейкая лента, я бы написал номера на клочках бумаги и прилеплял бы их на спину каждому Распознанному. Мальчишками мы проделывали такое с карточками, на которых значилось: «Я дурак». Как же мы хохотали, когда господин Грундман этого не замечал! «Помидор», правиль-

но, Помидор было его прозвище. Стоило нам только прошептать это слово, и он становился пунцовым от ярости. Учителя тогда еще орали на учеников. Хотя бить нас уже не смели. Помидор в чистой рубашке, а в штанах висит какашка.

Само собой, я бы тоже носил такой номер. Ведь распознать двух-трех человек – не велика важность. А вот сто сорок четыре – это тебе не фунт изюму.

Или я поступлю наоборот. Раздобуду план палуб, потому что на нем обозначены каюты. И буду, как только кто-то покинет судно, вычеркивать номер его каюты. Для этого у меня будет время от первого появления на борту до последней высадки на берег каждой новой группы пассажиров. Даже прямо сейчас, когда впереди у нас еще целых три недели, я могу приняться за дело. В конце останутся только сто сорок четыре каюты. Эта идея не такая дурацкая, как с номерами. Нам достаточно было бы показать друг другу ключи от кают – с бирками, – и мы бы тотчас поняли, что к чему.

Ох, опять эта плакса. Мало-помалу терпение мое иссякает. Главным образом потому, что и она вечно хлопает тяжелой дверью, ведущей на шлюпочную палубу. И так продолжается целый день. Никто не сообразит, что надо придержать ручку, чтобы движение стальной двери замедлилось. Из-за того, что она обшита деревянными рейками, удар получается вдвойне громким.

Каждый раз я вздрагиваю и смотрю туда тоже каждый раз.

Но теперь мне пригодились, что я так делал. Я таким образом подготовился. Потому что, как выяснилось, лучше всего не просто молчать. А создавать такое впечатление, будто ты здесь не присутствуешь. *Душевно* не присутствуешь, хочу я сказать. Если ты просто смотришь сквозь людей, для них это гораздо неприятнее, чем если бы ты ругался или протестовал. Отреагируй ты так, тут бы они и проявили свою активность. И ты бы вообще не мог успокоиться. А они бы этим воспользовались. Если же будешь упорно молчать, они быстро отстанут.

И все же на сей раз я лучше исчезну. Пока она меня не заметила.

Попробую прямо сейчас раздобыть для себя план палуб.

Кто бы мог ожидать? Перед стойкой ресепшен образовалась длинная очередь. Это, само собой, связано с экскурсией: все они хотят к Наполеону. Только они забыли заранее заказать билеты. Что и должны теперь наверстать. С другой стороны, в такой очереди чувствуешь себя защищенным, поскольку здесь тебя так быстро не распознают.

Поэтому я всегда предпочитал жить в городах. В деревне, будучи плохим человеком, ты слишком быстро привлечешь к себе внимание. В городах же, напротив, определенная пронырливость – условие существования. Там у тебя гораздо больше возможностей. К примеру, мне в самом деле

доставило удовольствие бросить Гизелу, успевшую за три года привыкнуть к большой квартире. Или все-таки за четыре? Без меня она бы никогда не осилила такую квартирную плату. Так что в конце концов ей пришлось добровольно оттуда съехать, *как бы* добровольно. Это была моя месть за то, что после развода мне пришлось продолжать платить за Петру. Как бывшая супруга, сказал ее адвокат, она имеет на это право. После я только и ждал, как бы получить сатисфакцию. Все равно с кого. Можно так сказать, «сатисфакцию»? Все получилось абсолютно как я хотел. Правда, в «Кемпинском» мне устроили сцену с криками, битьем бокалов и всем причитающимся. Тем не менее, хоть я и получил план палуб, список пассажиров мне дать не соизволили. Хотя я вел себя с этой молоденькой темноволосой русской по-настоящему дружелюбно.

Пожалуйста, вернитесь сейчас в свою комнату, сказала она, имея в виду мою каюту. Нельзя сердиться на этих девчушек, если им не всегда приходит на ум нужное слово. Они в своих школах не учили английский, а уж немецкий тем более, и теперь им приходится наверстывать всё сразу. В Бремерхафене команда в любом случае поменяется. Тогда на борту опять будут только немецкие пассажиры. Англичане и австралийцы сойдут еще в Харидже. Во всяком случае, я теперь знаю, что всего тут 547 кают. Включая сюты.

Такого количества пассажиров на борту сейчас нет. Так что мне придется еще и выявить каждое помещение, которое

во время нашего рейса не занято. Если бы мне дали список пассажиров, в этом не было бы нужды.

Все это пронеслось у меня в голове, пока я стоял возле стойки. Из-за чего я почувствовал такой упадок сил, что уже не был способен к работе уговаривания.

Я лучше позже обращусь по поводу списка пассажиров к директору отеля. Прежде такого человека называли бы квартирмейстером. Но если у него перед именем значится «доктор», это, само собой, уже не годится.

Само собой, когда-то и я хотел заполучить нечто подобное. Звание доктора, я имею в виду. Но мне бы это обошлось слишком дорого. Да такая инвестиция и не понадобилась, поскольку у китайцев гораздо больше ценился мой возраст. То, что мне уже за пятьдесят. Тридцатилетнего как делового партнера они бы вообще не восприняли всерьез. Неважно, с докторской степенью или без. Но мне, само собой, повезло, что мои партнеры оказались не старше, а даже намного младше меня, – вся эта команда косоглазых. Я и сейчас вижу их перед собой, как тогда в Мюнхене. Бросаемые на меня взгляды, один фальшивей другого. В действительности это у меня должны были быть косые глаза. Если и вправду, как говорят, по человеку видно, что он проныра.

По мне этого никогда не было видно. Я всегда следил за собой, но одевался так, что это не бросалось в глаза: в темно-синий костюм, летом – чуть более светлого оттенка. Ино-

гда даже серый. Галстук, кожаные ботинки, и на этом всё. И еще, само собой, очки. Они настраивали китайцев на доверие. Я с самого начала знал, что наступит день, когда они приставят мне к горлу нож.

В такой ситуации времени на семью не остается.

В такой ситуации надо быть начеку. Месяцами. Что значит «начеку»? Или надо писать «на чеку», раздельно? – В любом случае я таких, как Гизела, просто использовал. Деньги тут никакой роли не играли. После тех китайцев я мог сделаться либо богачом, либо абсолютным банкротом. Так что мне было по фигу, истрачу ли я на Гизелу две тысячи или десять. Или на кокс. Когда же эта авантюра удалась, стало тем более все равно.

Впрочем, я уже привык к трости госпожи Зайферт. И должен повторить, что мне она нравится. Она не особенно красивая и уж тем более не ценная – обычная деревянная палка с тонкой черной рукоятью. Почти как у зонтика.

Конечно, поначалу я чувствовал себя неловко, потому что это явно дамская трость. С другой стороны, зато не замечаешь ее веса. Но такой ясностью восприятия, какая была свойственна мсье Байуну, я все еще не обладаю. Я представляю ее себе как далеко простирающуюся, как наияснейшую ясность. Она бы вообще не оставила мне пространства для мыслей о Гизеле или о китайцах и Петре. Потому что все это стало бы совершенно неважным.

Тем не менее я могу сейчас написать, что я не был хорошим человеком. От этого в самом деле уже ничего не зависит. Не беспокоит меня больше и то, что тогда писали в газетах. Что я, мол, преступник и тому подобное. Я, может, и был мошенником, но преступником – определенно нет. Обвести тех китайцев вокруг пальца – в этом была какая-то справедливость. Прокуратура позже так это и оценила – ну, не совсем. Однако следствие было прекращено, и точка. После чего Петра смогла подать иск, исходя из того, что мы с ней, дескать, на протяжении ряда лет управляли фирмой совместно. Хотя она из-за Свена постоянно сидела дома и имела все, что хотела. Бассейн и домашний кинотеатр. Тогда как я постоянно торчал в конторе, чтобы втюхивать китайцам эти полупроводники. Которые прежде импортировал из Китая, но немножко видоизменял. Потому что на них тогда ставилась маркировка «Made in Germany»⁷. Что меня всегда забавляло – само это понятие. Во всяком случае, потом китайцы перепродавали их своему правительству, но уже под другой маркой. Ее подделывали сами китайцы. Якобы какая-то фирма в Детройте.

Поэтому я просто не посмел затягивать дело, когда они явились ко мне с предложением о продаже фирмы. С такими триадами не шутят. Так что я, что называется, стал рантье. После того, значит, как прокуратура перестала копаться в этой грязи. Ибо чем глубже она туда зарывалась, тем ху-

⁷ «Сделано в Германии» (англ.).

же был запах. Пока под конец не завоняло всеми сортами Хардтхёэ.

Кроме того, я делал большие пожертвования Церкви. Во-первых, никто не знает наверняка, не существует ли все-таки Бог, а может, даже и ад. И, во-вторых, это дает прекрасное самоощущение. Тебя, к примеру, приглашают на обед, и за столом не говорят ни о чем другом, кроме того, что ты там присутствуешь. Потому что ты теперь уважаемая персона, которая может даже служить примером для других. Реконструировать всю эту историю в деталях я уже не сумею.

Что я больше понятия не имею, как выглядела Гизела, это меня как раз не удивляет. Только – что я всегда называл ее Бергамоттхен. Чего она вообще терпеть не могла. Завести ее никогда труда не составляло. Теперь ее лицо стерлось из моей памяти, как и лицо Петры, которая все же была моей женой. Опять-таки если память меня не подводит. Я даже не помню, сколько ей лет. Все становится малозначимым, когда внезапно небо превращается в сплошную радугу.

Над дымкой из пены, которую ветер сдувает с волн, взлетают странные искры.

Если подумать, мсье Байун не мог появиться на борту во время первого моего путешествия. Или дело обстояло так, что из Танжера мы пошли не на восток, а в Лиссабон? Там мое первое морское путешествие должно было бы закончиться. Но только я уже знал, что никогда больше не сойду

на берег.

Так что там, в Лиссабоне, я впервые пережил полную высадку пассажиров. Потом – генеральная уборка на судне, потом – моя вторая посадка. Так? После чего мы пошли на восток, через Суэцкий канал и Индийский океан – до Бали. Там я, значит, побывал уже дважды, первый раз с мсье Байуном. Который, само собой, как и я, на берег там не сходил. Но обучал меня воробьиной игре, в которую мы с тех пор часто играли, сыграли сотни партий. Второй раз я там побывал один, поскольку он навсегда ушел.

Где стоял этот похоронный автомобиль?

Черный, сверкающий ящик на колесах с ультрасиними складчатыми гардинами за узкими стеклами. Высокая длинная крыша, спереди утолщенный бампер. Я еще вижу, как он, под выпуклой решеткой радиатора, отполирован до серебряного блеска. Как в каком-нибудь старом фильме, невольно подумал я и вспомнил о «Крышах Ниццы». Как бишь ее звали – ту, что потом сразу и как бы между прочим стала королевой?

Пугающим этот автомобиль был потому, что синева гардин точно соответствовала синеве бархатной обивки в сундучке для маджонга.

15°55' ю. ш. / 5°43' з. д

Остров, под тяжелыми облаками прошедшей ночи, двигался нам навстречу. Было раннее утро. Непрекращающийся дождь разлагал свет, превращая его в лихорадочно-светлую желтизну, которая прорывала подвижные дыры во все еще плотных облачных скоплениях.

Поскольку мы шли с юго-востока, нам пришлось обогнуть половину скалистого острова. Поначалу он выглядел грубым и расщепленным. Но повсюду, куда через эти дыры падали теплые лучи, прибавлялось базальтовой красноты. Только к полудню она сменилась серо-коричневым – пластами застывшей лавы.

Потом началась жара.

И все же, хотя солнце давно уже стояло в зените, наблюдалось обрушение облаков. Оно было настолько непроглядным, что скальная порода напилалась совершенной чернотой, повсюду. А там, где она, несмотря на обновленную силу солнца, осталась влажной, она теперь блестит, как сатинированное стекло, до самой вершины.

Но не это вот уже несколько часов удерживает меня в шезлонге.

Когда хлынул ливень, я нашел прибежище под коротким стальным козырьком, в уголке для курильщиков. Но там сидели только обе певицы и молодой человек. «Стажер», как

говорят. Они его непрерывно обхаживали. Настолько *шикарно*, сказала бы моя бабушка, он выглядел, со своими светло-голубыми глазами и в белой форме. Да еще ослепительные зубы, притом что он сильно загорел. Мы и оглянуться не успели, как вода поднялась нам до щиколоток. Миллионы маслянистых капель, шлепаясь на доски, отскакивали каждая на метр.

Потом непогода исчерпала себя, и снова пробилось солнце. Так что воздух снова наполнился мечущимися сквозь него снежно-белыми парочками. Это были двадцать, тридцать, а может, и сорок маленьких, как ласточки, и таким же манером скользящих в небе птиц. Вероятно, чаек. Они не только отчебучивают собственный искусный полет, можно так сказать: «отчебучивают полет»? – но и постоянно скользят друг вокруг друга, в каждой паре. Это у них вроде как любовная игра, нескончаемая. А они еще и издают счастливые крики, словно хотят подать весть о себе всем и каждому, каждой живой твари в нашем мире.

К которому они наверняка не относятся. Это ведь души фей, подумал я, фей искусства полетов. Они вылупились из яиц более светлого и свободного промежуточного мира, чем наша посюсторонность, подумал я. Даже – чем потусторонность. И внезапно я невольно подумал: быть не может, что ты внезапно влюбился. Я влюбился в маленькую белую ласточку. И – что ничего подобного я никогда прежде не чувствовал.

Прежде всего потому, что они есть повсюду: над морем и над землей и подо всем земным небом.

Но я, само собой, понимаю, что в то время отсюда нельзя было убежать. Обладая Наполеон Сознанием, он бы, само собой, этому радовался. А сейчас люди с нашего судна уже на пути к его могиле. Они там будут напирать друг на друга, чтобы сфотографировать ее. Только мы, оставшиеся на борту, молчим, а если и разговариваем, то приглушенно.

Но тут кто-то крикнул, чтобы мы подошли к левому борту. Быстрее! Быстрее! Руки протянуты к воде, увлеченно указующие руки. Обратились потом в нашу сторону и, можно сказать, веяли. Само собой, призывный крик повторился. Так что и я поднялся. Медленно шагнул к лееру и увидел дельфинов. Маленькие тела, длиной сорок или, может, пятьдесят сантиметров, которые поначалу, подобно стремительным торпедам, проносились непосредственно под гладкой водной поверхностью. А потом принялись подпрыгивать, будто хотели показать нам себя. И уже не могли остановиться.

Я сотни раз наблюдал такое, и все же это всегда ново. Так близко от маленькой гавани. Которая, можно сказать, представляет собой один-единственный мол. От него к нам доносились перепутанные выкрики детей и их смех. Да еще голос из громкоговорителя веял над последним кусочком моря. Я даже уловил треск пистолета. Спортплощадка, подумал я по-

началу, но оказалось, это плавательный бассейн. Так что я попытался вспомнить, когда я был в бассейне последний раз. Я уже этого не помню, но все же ощутил на коже запах хлора. И услышал глухой всплеск под водой, как прежде, когда я, мальчишкой, после сеанса борьбы нырял и – всегда надеялся, что у плавающих девочек что-то соскользнет между ног. Но такого ни разу не случилось. Только иногда можно было догадаться, где у них щелка. И ведь я это все давно позабыл. Какой мистерией она когда-то была.

Теперь меня наводнило. Наводнило опять.

Так что дельфины прыгали вниз и мелькали. Так что наверху носились феи и увивались одна вокруг другой, описывая свои эллипсы. При этом они кричали и кричали, как если бы были эхом детских голосов. Отголоски отбрасывала назад – справа – вулканическая гора, на самый верх которой ведет Лестница Иакова. Что она так называется, рассказал мне еще прежде мистер Гилберн. Две-три человеческие фигурки, как я увидел, карабкались на нее. Наверняка не с нашего корабля-грезы, во всяком случае, не из пассажиров. Она слишком крутая.

Но, может, кто-то из экипажа. Вряд ли кто-то еще в мире способен туда залезть. Но пока я так смотрел на солнце, через море, я увидел себя взбирающимся по ней. Мне это давалось очень легко, поскольку и эти ласточки взлетали по ней до самого неба и снова слетали с него. Они это делали, чтобы ободрить меня. Но это опять были всего лишь дети,

сидящие вокруг бассейна на скамьях. Они кричали и хлопали в ладоши, чтобы их друзья плыли быстрее, еще быстрее. Кто приплывал первым, того встречали таким ликованием, что у меня вдруг закружилась голова. Хотя расстояние приглушало все звуки. Как будто я вслушивался в морскую раковину.

Мне даже пришлось ухватиться за что-то. При этом я положил левую руку на правую руку мужчины, стоящего рядом со мной. Я даже не заметил этого поначалу, а только когда он спросил, все ли со мной в порядке. Думаю, ему пришлось задать свой вопрос дважды, прежде чем я понял.

Да-да, сказал я, в то время как он, проследив за моим взглядом, тоже уставился на птиц, *Gygis alba*⁸. Тут у любого голова немножко закружится. Но, может, вам все-таки лучше присесть.

Странно, но мне эта ситуация не показалась неловкой. Я даже оставил свою руку, где она была. Хотя мало-помалу мне становилось ясно, что это первый – за месяцы – человек, с которым у меня установился контакт. Не считая горничной, разумеется.

Я даже позволил, чтобы он довел меня до одного из столиков. Он помог мне занять место. Тут же быстро подошла одна из кельнерш. Может, я в самом деле слегка побледнел. Мне лучше пойти в мою комнату, сказала она, и прилечь. Меня с ума сведет эта «комната». Но кельнерша, само собой,

⁸ Белая крачка (лат.).

тоже русская или родом из Украины либо Молдовы. Поэтому у нее те же проблемы с выбором правильных слов, что и у служащей на ресепшене.

Это, определенно, было уже больше месяца назад.

Где же я оставил план палуб?

Он будто заколдован. Ведь у меня отнюдь не большая каюта, хоть я и занимаю ее один, несмотря на две койки. Но я откладываю что-то в сторону и потом просто не нахожу. Только сейчас мне, конечно, не хотелось бы ничего искать и уж тем более – возвращаться туда, то есть спускаться на мою Балтийскую палубу. В каюте в любом случае ничего не шумит, кроме извечного кондиционера. Мне же хотелось бы оставаться на свежем воздухе, под летающими феями. И эти крики я хотел бы слышать и дальше – их крики и те, что доносятся от бассейна.

Так или иначе, но я почувствовал себя лучше. Поэтому мне действительно повезло, что кельнершу позвали еще куда-то. Здесь это делается посредством непрекращающегося электронного свиста. Она только, как я сразу заметил, подавала тайный знак одному своему коллеге. После чего он принес мне стакан воды. Человек, за которого я ухватился, тем временем подсел к моему столику. И представился. Даже это я счел везением. Как и летающих фей и детей. Хотя вслух ничего такого не сказал.

Его зовут мистер Гилберн, и он обладает Сознанием, как

и я. Он тоже потерял близкого друга. И, как и мой друг, мсье Байун, он тоже дружил с госпожой Зайферт.

Ему она тоже кое-что оставила, но это был шейный платок. С ним, как он выразился, он расстается только на время сна. Кроме того, он рассказал мне историю Лестницы Иакова. Он называл ее легендой. Я взял это себе на заметку, потому что речь там идет и о Гуфе: Палате, как он выразился, нерожденных душ. О которой мне рассказывал мсье Байун.

Близкого друга мистера Гилберна я смог припомнить лишь приблизительно, пока мы сидели вдвоем на покачивающейся палубе юта. Мистер Гилберн заказал себе джин с тоником. Я время от времени прихлебывал из стакана с водой. По затылку у меня стекал пот.

Приятно в мистере Гилберне то, что он курит. Правда, только самокрутки. Каждый раз, закуривая, он бормочет, не без иронии, своеобразное изъяснение благодарности. Например: Что есть человек, что Ты знаешь о нем? И при этом подмигивает мне. Так что я тотчас невольно думаю: как хорошо, теперь ты сможешь насладиться своей последней сигарой не один, а в компании. Ее я припас для себя, хотя вообще курить перестал. Но в один прекрасный день, быть может мой последний, я хочу ее зажечь, при полном Сознании. Тогда уже моему сердцу она не повредит. Да даже и имя уже не будет иметь к этому отношения.

Хорошо уже то, что здесь вообще еще разрешается курить. Для этого выделены специальные зоны, которые, впро-

чем, мистер Гилберн интерпретирует в несколько, как он выразился, расширительном смысле. Он вообще склонен к юмору — этот жилистый сутуловатый человек, достающий мне аккурат до бровей. А ведь я и сам не велик ростом.

Он, может быть, немножко старше меня, судя по седому венчику волос. Но их я увидел, только когда он снял бежевую кепку. Они у него очень короткие. Стрижка ежиком, сказала бы моя бабушка. Только у него и борода подстрижена ежиком. Обрезана четко по контуру щек. Не будь его кожа такой светлой, в нем чувствовалось бы что-то арабское или еще и еврейское. О таком, само собой, говорить нельзя, тем более о том и другом вместе. И все же нос у него впечатляюще большой; как и самого этого человека в целом я нахожу впечатляющим. В нем нет ничего детского; только та же, но в его случае скорее насмешливая ясность восприятия, которая, как я знаю, у мсье Байуна была больше, чем у него, сопряжена с любовью. И все же, несмотря на присущее ему чувство юмора и его орлиный нос, он не держится со мной высокомерно. К примеру, не дает мне благонамеренных советов. Не выражает постоянно желания, чтобы я не сидел на солнце или надел что-то себе на голову. И если я не хочу есть, но и ложиться в постель не хочу, а предпочитаю оставаться снаружи, он и это тотчас принимает. Нужно считаться с тем, сказал он, что человек свободен. Когда его друг прощался с ним, этот принцип тоже учитывался.

Ну, вот и всё, будто бы сказал тот. Он, мол, хочет побла-

годарить за совместно проведенные часы. И они обнялись – это длилось на секунду дольше, чем обычно. Когда потом его друг пошел прочь, он не посмотрел ему вслед. А вместо этого долго смотрел через леер на море и невольно смеялся про себя. Поэтому, сказал он, я прошу, чтобы и вы не смотрели мне вслед.

Я попытаюсь. А вот смогу ли я в такой момент смеяться, этого я, само собой, сегодня еще не знаю. Но ведь если мы представим себе, сказал мистер Гилберн, что от человека вообще ничего не остается, действительно никакого следа, тогда как воздух, которым мы дышим сегодня, все еще тот же самый, которым две тысячи лет назад дышал, к примеру, Цезарь, совершенно те же молекулы воздуха, – тогда, сказал он, мы волей-неволей сочтем это, в каком-то высшем смысле, комичным. Ведь, дескать, вполне может быть, что он сейчас, в этот момент, втягивает в себя ту самую струю воздуха, которую – с тех пор даже года не прошло – точно так же втягивал в себя его друг.

Эта мысль занимает меня. Даже и сейчас, когда пассажиры вернулись со своих экскурсий, а я бежал от неизбежной вечеринки по случаю отчаливания – вниз, на шлюпочную палубу, но на сей раз к левому борту.

Едва мы выходим в открытое море, как под свежим ветром становится прохладно. Поскольку я к этому привык, я захватил с собой одеяло и теперь прикрыл им колени. Но

мне все еще очень нравится, чтобы ступни оставались свободными, чтобы на них не было носков.

Я и сегодня охотно хожу босиком. Но постоянно получаю замечания, что мне не следует так делать. Главным образом от Татьяны. Поэтому я стараюсь по возможности не попадаться ей на глаза. Например, прежде чем покинуть свою каюту, я открываю дверь только на щелку. И сперва выглядываю: не видно ли ее, не возится ли она, к примеру, в кладовой. Как это ни глупо, кладовка находится почти напротив меня, чуть-чуть наискосок. Коридоры же узкие. Можно держаться руками сразу за обе стенки. Если ты ходишь босиком там, это, само собой, неопасно. Потому что все выложено коврами дорожками. Только на внешних палубах нужно смотреть себе под ноги, чтобы не ушибить большой палец о какой-нибудь стальной кант.

Чтобы выйти, нужно довольно высоко поднимать ноги. Потому что двери стучаются не только вверху и сбоку, о раму, но и внизу – о комингс. Который должен при сильном волнении препятствовать тому, чтобы вода затекала под дверь. И когда я возвращаюсь в свою каюту, я тоже сперва смотрю налево и направо, вдоль коридора. Чтобы не получилось так, что Татьяна меня заметит и тогда опять пожелает, чтобы я что-нибудь съел.

Я, к примеру, не знаю, есть ли в России такой обычай, чтобы горничная заботилась еще и об одежде пассажиров; или в Украине. Я их попросту не различаю. Поэтому я заглянул

в карманный атлас и искал ее там. Украину. Раз уж такой атлас лежит действительно в каждой комнате.

Может, мне стоило бы как-нибудь спросить Татьяну, не расскажет ли она мне что-то о своем доме. Но, во-первых, я не хочу со своей стороны подступаться к ней слишком близко. А во-вторых, она, вероятно, уклонится, поскольку ей это неприятно. И у нее так же дернется левая щека, как тогда у кельнерши. Та тоже родом из Украины или Молдовы. В то время я еще ходил на эти шоу, в лаунж-холл. Поскольку тогда мне еще нравилась такая музыка. И кельнерша мне сказала, что уже больше полутора лет не видела сына. Так долго, мол, она не приезжала домой.

Только расплакалась она не из-за меня, а потому, что ее ребенок еще такой маленький, ему даже трех не исполнилось. И он наверняка забыл ее, свою мать, просто потому, что скучал. Ее плач был спровоцирован шлягером, который заиграли оркестранты. Мсье Байун поэтому сказал: если правдивые чувства могут быть вызваны чем-то настолько фальшивым, тогда как в подлинной жизни люди их скрывают, то это выглядит особенно комично. Нет, это сказал мистер Гилберн. И добавил: *трагикомично*.

Ведь, к примеру, в «Капитанский клуб», когда там играют серьезную музыку, мало кто ходит. Хотя Галерея с ее променадом относится к центральным внутренним зонам нашего судна, а клуб расположен внутри нее. Я, правда, слышал само это имя еще до того, как обрел Сознание, но вообще понятия

не имел, кем он был – Бах. Но, вероятно, вопрос поставлен неверно. Надо было употребить слово *чем*: чем он был.

Поэтому я сегодня так долго остаюсь наверху.

Тем важнее, чтобы Татьяна меня не застукала. Я непременно хочу присутствовать на вечернем концерте, потому что мистер Гилберн меня туда пригласил. Но Татьяна всегда говорит: «Вы нуждаетесь в сне». Ей вообще не нравится, когда я так поздно расхаживаю по кораблю. Но на этих концертах бывает максимум шесть или семь человек, рассказал мистер Гилберн. И даже если вдруг придет больше, то они не слушают, а болтают и болтают и громко смеются. Некоторые, особенно женщины, по-лисьи тявкают даже в музыку, прямо в нее.

Уже поэтому важно, чтобы мы ходили туда. Музыкантши должны замечать, что они не в одиночестве. Как мучительно быть одиноким, я заметил только тогда, когда мсье Байуна уже здесь не было. В то время я впервые прибегнул к молчанию. А до этого, даже еще и после Барселоны или, во всяком случае, Танжера, я часто разговаривал с людьми. Раньше, в моей прежней жизни, – тем более. Я был душой общества, как выразился однажды уже не помню кто. Я не любил, когда вокруг меня слишком тихо. И вместо этого, как только выходил из конторы, для начала отправлялся в пивную или, столь же охотно, в клуб. Так что Петра могла не только безнаказанно обзывать меня алкоголиком. Но даже получила подтверждение своей правоты в суде, и мне сверх того

пришлось выплатить ей компенсацию.

Которую я бы куда охотнее отдал Татьяне. Та, правда, бдит, как балованная болонка, чтобы я после десяти не бродил без нее по коридорам, – нет, как зареванная белуга. Но, с другой стороны, она действительно обо мне заботится. И хорошо ко мне относится, я это чувствую, – на самом деле и вопреки всему. Кроме того, у горничных особенно тяжелая жизнь, ведь они почти всегда должны оставаться на борту. Поскольку члены экипажа вправе покидать наш корабль-грезу только тогда, когда пассажиры его уже покинули. А высадка может длиться очень долго, если речь идет об экскурсиях, для которых используются тендерные шлюпки. Не я один хожу медленно. Здесь много стариков. Одно только рассаживание по шлюпкам иногда растягивается на целую вечность. Но задержки случаются и на трапах.

К примеру, в Дурбане на месте высадки не оказалось круизных автобусов. Поэтому пассажирам пришлось оставаться в терминале. Поскольку пеший путь ведет через промзону – мимо сотен, как я слышал, контейнеров. Они будто бы громоздятся, образуя настоящие башни. Другое место стоянки обошлось бы нашему кораблю слишком дорого. Но через индустриальную гавань без пропуска не пройдешь. Так что пассажиры вернулись обратно. Это, само собой, выглядело комично – как они возвращались, а потом повторяли свою попытку уйти и снова беспомощно возвращались обратно. Это продолжалось часами.

В таких случаях у экипажа вообще никакого шанса нет, тем более – у горничной, которая обязана ждать до самого конца. Так что, к примеру, Татьяна, которая уже трижды обогнула земной шар, за свою жизнь успела увидеть меньшую его часть, чем какой-нибудь человек, скажем, с ежегодным трехнедельным отпуском.

Мсье Байун всегда пытался передать тем, кто не обладает Сознанием, толику своего Сознания. Потому что тогда можно было надеяться, что они со своей экскурсии на берег принесут что-то не только для себя и своих любимых, но и для горничных. Мы, конечно, и сами бы это сделали. Только мы ведь не покидаем судно. Не ради других стран и чужих городов находимся мы здесь.

Все это теперь снова пришло мне в голову – на шлюпочной палубе, по левому борту. Когда я быстро снял с колен одеяло и поднялся на ноги. Надо мной висели – оранжево-красные выше ватерлинии – спасательные шлюпки, прикрепленные к шлюпбалкам. Из-под них я смотрел на Святую Елену, как она снова исчезает в море.

Только огни Джеймстауна были еще различимы, и на утесах – лампы двух маяков. Точнее, прожекторы. Я считал секунды между вспышками – интервал, по которому с мостика можно определить, где мы находимся. Между тем на борту есть люди, которые вообще никогда не могут сойти на берег – только когда путешествие закончится. К примеру, те, кто работает в камбузе, можно сказать, вообще никогда не видят

дневного света.

Но теперь его в любом случае нет. О чем – в стальных стрелах и талях, к которым подвешены шлюпки, – и заводит свою песню ветер. Обо всем, что относится к этому миру и что более реально, чем Бах. Так что я опять ощущаю то одиночество, которое овладело мною после ухода мсье Байуна и из-за которого я вообще перестал говорить. Так оно было при моем втором посещении Бали и потом.

Пока мы огибали Австралию, это продолжалось – и когда шли через Индийский океан. Тогда я уже не говорил даже с самим собой. Перед островом Маврикий и другим островом, Реюньон, вокруг палубы бака кишели маленькие акулы-молоты, похожие на беспокойных грызунов, что я, вообще-то, понял только теперь. Поскольку тогда постоянно шли дожди, даже и перед Дурбаном. Потом – туман возле Игольного мыса, ужасно одинокие киты перед Капштадтом, гудок откуда-то с пароходов, невидимых в этом молоке, звучащий как бы сам по себе. Тут уж я больше не мог этого вынести, и уж тем более, когда кто-то наносил мне визит.

Дело принимало все более скверный оборот. К примеру, Татьяне в голову пришла совершенно нелепая мысль, что она должна меня помыть. Да, очень может быть, что в Украине принято даже одевать своих гостей, не буду спорить. Но идея с мытьем – это уже чересчур. Особенности другой культуры такого не объяснишь. Этому нет оправдания. Среди прочего и по этой причине я обратился к тетрадам.

14°4′ ю. ш. / 7°40′ з. д

Бывают гребни волн, похожие на горбы китов.

У нас опять впереди два дня в открытом море.

С утра – сильный дождь и, снова, западный ветер, который уже дул ночью. Нередко также и в предшествующие дни. Но после концерта было еще сухо. Поэтому мистер Гилберн и я посидели еще немного на палубе юта. Молча делились мы своей взволнованностью. Иначе об этом не скажешь. Но он постоянно крутил себе самокрутки. Что есть сын человеческий, что обращаешь на него внимание? – пошутил он и грубо затыкнулся. Это меня рассердило. Всё он видит не иначе как в комичном свете. Так что мне захотелось остаться один на один со своей взволнованностью.

Он проводил меня до каюты.

Но нечего было и думать, что я сумею заснуть! Тем не менее я кивнул мистеру Гилберну – дескать, спокойной ночи.

Закрыв дверь, я приник к ней ухом. Как долго его еще будет слышно? Не его шаги, само собой, об этом из-за половиков речь не идет, а покашливание. Он ведь так много курит. Но и этого мой слух больше не улавливал.

Тем не менее я, надежности ради, сосчитал до пятидесяти. Потом открыл дверь. Сперва только на щелку.

В длинном узком коридоре, тускло освещенном, царил

ла тишина. Даже неизменный ряд дверей, казалось, заснул. Слышался только равномерный рокот машины. И я понял, что такое тщетность.

Почувствовал я это еще в «Капитанском клубе». А ведь, насколько помню, в своей жизни я добивался любой женщины, какую хотел. Правда, я думаю, что, может, только таких женщин я и выискивал. Они должны были как-то проявлять себя, но не приставать ко мне с разговорами. За это я им платил. Я платил и Петре. Потому она и имела такую льготную жизнь. Это она очень четко понимала. Потому и наш развод превратился в потеху, хотя отнюдь не комичную, как, может быть, полагает мистер Гилберн.

Само собой, я получил то, чего заслуживаю. Я не жалуясь. Со времени Барселоны я больше не жалуясь, и особенно – со времени Танжера. Но мне сейчас пришло в голову, что горничные и кельнеры начали превышать свои полномочия только после Танжера. Тогда же впервые явился и мой визитер. И сидит теперь здесь, и под конец начинает рыдать. Всякий раз одно и то же.

А значит, он тоже поднялся на борт в Танжере. Мсье Байуну я, конечно, об этом ничего не рассказывал. Я думал, если он умалчивает передо мной о своей кельтской подруге – он, может, вообще не хочет говорить о женщинах. Кроме того, своего визитера, стоит ему исчезнуть, я стараюсь как можно скорее вытеснить из памяти. И уже в самом деле его не помню. Это чистая самозащита. Так или иначе, для Созна-

ния интересны совсем другие вещи и феномены. На них мы с мсье Байуном и концентрировались. К примеру, на цвете моря, который всякий раз меняется.

О чем я помню гораздо лучше, чем о своем визитере, – это, к примеру, что бывает вторничное море. Между тем о своем визитере я, собственно, вообще не помню, – разве что тогда, когда он присутствует здесь. Всякий раз это пугает меня.

Вторничный цвет моря действительно существует. Он примечателен тем, что бывает не только по вторникам. Море может принять этот вторничный цвет и в какую-нибудь среду, или в четверг, или еще когда-нибудь на неделе. Точно так же в какой-нибудь вторник оно может быть цвета среды. Что существуют такие цвета, связанные с днями недели, важно для Сознания. Перед лицом такого таинства как могли бы мсье Байун и я разговаривать еще и о кельтянках или о визитерах? Когда не только что-то одно может быть красным, а другое желтым, а третье – матово-фиолетовым, но бывает и четвертое – сияюще-вторничное, и пятое – пастельного оттенка среды.

Это занимало его и меня даже в наших снах. Об этом я размышлял, глядя на море, когда этот посетитель впервые вторгся в мою безмятежную жизнь на борту. Что я именно сейчас снова вспомнил о нем, ночью перед моим последним обходом судна, хотя и не могло иметь никакого отношения к скрипачке... Тем не менее внезапно перед моими глазами

встала картина, как, когда она поворачивается, справа на ее шее, над сонной артерией, проступают сухожилия. Когда она с особым нажимом касается смычком струн, они действуют почти как трансмиссия... Зато имеет отношение к пианистке, к Катерине *Werschevskaja*. Я специально посмотрел в программке ее имя.

К Сознанию относится, что ты больше не имеешь страха. Даже перед бессмысленностью. Правда, когда Сознание устанавливается впервые, ты чувствуешь страх с особенной силой. И ты не вправе обращаться в бегство, а должен подставиться этому страху.

Что поначалу бывает ужасно. Обычно мы ведь его не чувствуем. Во всяком случае, со мной было так. И тем не менее все же чувствуем, поскольку страх – не только в голове. Скорее страх есть нечто телесное, наподобие тактильной чувствительности. Он – орган восприятия. Это как с моими таблетками, если я принял их слишком поздно. Боль тогда исчезает действительно, и все же я ее чувствую. Она лишь не мучает теперь так сильно. Что, однако, обманчиво. Ибо она мучает и дальше, может, даже еще хуже. Как когда к нам в квартиру проникает взломщик, а мы делаем вид, из страха, будто ничего не слышим. Просто продолжаем сидеть как ни в чем не бывало, и он сзади наносит нам смертельный удар железной штангой или вазой.

Так обстоит дело со страхом.

Когда мы не хотим его воспринимать, а одурманиваем себя невесть чем. Точно так же и с таблетками. Поэтому я их больше не принимаю, хотя Татьяна очень за этим следит. То есть я беру их в рот, но потом выплевываю. Это не всегда легко, потому что меня принуждают сразу что-то выпить, чтобы они проскочили туда-вниз. Собственно, надо бы говорить сюда-вниз, потому что они проникают внутрь тебя, то есть оказываются гораздо ближе к тебе, чем раньше. А иначе получается, что ты находишься снаружи себя самого. Но я тренировался с драже «Тик Так». Потому что от зубного врача я знаю, что у меня есть карман, как он выразился, между десной и зубом. Из-за чего я должен особенно аккуратно обращаться с зубной нитью.

После Барселоны, однако, выяснилось, насколько практичен такой карман. Он спасает меня от одурманивания.

Между тем я все еще смотрел через дверную щель. Мистер Гилберн уже давно исчез.

Нет, Татьяны тоже поблизости не было. Даже горничные когда-то должны спать, если работают с утра до вечера. Постоянно должны они стелить постели, приносить кому-то свежие фрукты и чистить зеркало в ванной. И они же ежедневно кладут тебе на стол программу на следующий день. Какое шоу состоится сегодня в лаунж-холле. Когда опять в «Капитанском клубе» будет играть Катерина Вершевская. Ее подруга, скрипачка, – тоже русская. Я думаю, ее зовут Ольга.

Когда выступит *Sunshine Duo*⁹. Где завтра во второй половине дня начнется викторина.

Однако, несмотря на их самоотверженность, труд горничных очень плохо оплачивается. По сути, они живут за счет чаевых, которые им оставляют после каждого путешествия. Тогда как мистер Гилберн жаловался, что на корабле нет рулетки. Его это сердит. Очевидно, Сознанием можно обладать, даже будучи игроком. На мгновение я совсем растерялся. И такой фантастический человек может иметь слабости! Он, однако, ничего не заметил, а рассказывал дальше. О Монако, к примеру, и о Баден-Бадене. При этом он царапал по тарелке, хотя яичницу уже совсем расчихвости. Так что я даже не заметил, что и сам что-то съел. Такого со мной давно не случилось.

Но это наверняка было уже следующим утром. Или еще одним утром позже. Так вырастают друг в друга во время долгих путешествий дни. Само собой, мой новый голод был связан с моей Анимой. Мистер Гилберн употребил это выражение. Анима и суккуб, сказал он. Петра – второе из этих двух. По отношению к игрокам он употребляет словечко «Gambler»¹⁰.

Сознание мсье Байуна, само собой, было более зрелым, чем у мистера Гилберна. Из-за яичницы я на мгновение за-

⁹ Дуэт «Солнечный свет» (англ.). Существует болгарский дуэт с таким названием (Кристина и Аспарух, певица и пианист), образовавшийся в 2014 г.

¹⁰ Азартный игрок (англ.).

сомневался: уж не является ли более зрелым даже мое.

Мне думается, мсье Байун ушел, когда его Сознание сделалось совершенным. У нас обоих оно еще не стало таким. Именно это и делает нас друзьями. Ведь если хорошенько подумать, мсье Байун в гораздо большей мере, чем другом, был для меня учителем. Хотя и я тоже, что правда, то правда, не посмотрел ему вслед – но так получилось из-за расхлябанности, а вовсе не из-за Сознания. Только если бы дело обстояло наоборот, мы могли бы стать друзьями.

Там, впереди, поверхность моря выглядит как шкура вулканов. Другие волны – цепи холмов, со спин которых вода соскальзывает, словно песок со стеклянисто-гладких поверхностей. Там вспыхивают светлой белизной брызги.

Вдалеке – лодка. Такого просто не может быть посреди Атлантики. Но это не другой корабль, а, может быть, просто дрейфующие обломки.

На дальнем плане – горизонт, сегодня опять цвета пятницы. Вдоль узкой полоски которого море вздымается стеной. Именно так это выглядит: бесконечная скальная гряда, которая тянется с севера до самой Африки. С нее-то и рухнул вниз, перед Ниццей, мсье Байун.

Может ли быть, что от одиночества? Разве его не сопровождали? Кто? И если об одиночестве тоже речь больше не идет?

Но что боль продолжает воздействовать и дальше, это я по-прежнему сознаю. Что во мне имеется нечто, разлагающее меня. Против него я ничего не могу предпринять, но уже и не хочу что-то предпринимать. *Оно меня разлагает.* Потому я о нем не пишу.

Оно происходит, вот и всё.

Итак, я, все время хорошенько опираясь на трость госпожи Зайферт, поднялся по трапу к прогулочной палубе Галереи – то есть ближе к середине судна и на одну палубу выше моей. Галерея называется так не только потому, что там висят картины. Ведь та ее сторона, что обращена к корпусу судна, состоит из панорамных окон, следующих друг за другом. Перед ними стоят кресла и столики. Теперь, ночью, там, само собой, никто уже не сидел.

Наконец, по левому борту, я толкнул дверь, выходящую на наружную часть прогулочной палубы. Где я теперь опять сижу. Но порывы ветра оказывали с той стороны такое давление, что открыть ее было нелегко. Мне пришлось толкать дважды, что из-за трости было очень несподручно. В третий раз я еще и уперся плечом. И тут она, боль, проникла под мой купальный халат, заставив его трепетать на мне. Чего я не понимаю, ведь после концерта я еще не раздевался. Но теперь на мне не было даже ботинок, и носков тоже.

Я, вероятно, не хотел, чтобы кто-то слышал мои шаги. Иначе это не объяснить. Тем не менее постукивания трости, само собой, не услышать нельзя. Там, где нет половиков,

имею я в виду.

В тот момент я о ней забыл. Речь шла лишь о том, чтобы поскорей запахнуть халат, который вместе со мной трепетал на ветру. Еще сильнее, чем этот штормовой холод, я вдруг почувствовал холодное ночное одиночество. Хотя должно было быть тепло, в такой близости от экватора. Но тепло отсутствовало, в такой близости от моего сердца.

О чем я предпочел не думать. И уж тем более – о своих болях. В игру, вообще-то, играют по-другому. Но для этого надо собраться вчетвером. Нас же всегда было только двое, мсье Байун и я. И, по сути, каждый сам по себе; так что мы играли, как раскладывают пасьянс, однако – друг против друга. Чтобы число оставалось неизменным.

Поэтому мне вспомнился остров Маврикий, *Île Maurice*¹¹, как называл его мсье Байун. Когда мы стояли на рейде напротив него?

Теперь остров располагался под хвостом гигантского животного.

Ведь, хотя дуло так сильно, небо было совершенно чистым. Я сразу распознал Денеб и Вегу, а незадолго до часа ночи из-за горизонта косо вынырнул Млечный Путь. Он цвел – что я увидел, как только откинул голову, – высоко над мной, слева, в зените. Однако померк Посох Ориона, так долго нас сопровождавший. Вместо него показалась эта Кобыла, я даже разглядел ее пуп.

¹¹ Остров Маврикий (*фр.*).

Она поднялась на дыбы.

Ветер был ее ржанием, понял я. Я еще раньше поднялся, по железному трапу, к солнечной палубе, которая теперь стала звездной палубой. Наклонившись вперед почти под прямым углом, чтобы защититься от ржания, попытался добраться до переднего ограждения. По последней пятой части беговой дорожки, которая там, где кончается спортивная зона, узкой полоской огибает радар. На другой стороне она возвращается обратно, мимо палубы дымовой трубы. И по всей немалой длине корабля-грезы в такелаже неистовствовало конское ржание. Выше и выше – вплоть до Альтаира.

На что оно жаловалось, я только начинал понимать. Ибо Полярная звезда располагалась еще под нашим миром. Она появится на видимом горизонте только по ту сторону от экватора.

Чтобы число оставалось неизменным. Иначе кирпичиков становилось бы меньше. Иначе случались бы такие моменты, когда внезапно одной игральной кости недостает. При этом, вероятно, не имеет значения, бамбук ли это или медяк. Или – дракон.

Прямо по ходу дела, в то время как люди играют.

Возможно, маджонг иногда не получался и из-за этого. Внезапно оказывалось, что отсутствует вторая, парная кость. Но до этого я додумался только сейчас. И потом внезапно она появляется снова. Но только после ближайшей гавани,

ясное дело. Где игра восполняет себя.

Однако не в каждой гавани на борт поднимаются новые пассажиры.

Поэтому такое отсутствие мы бы наверняка заметили. Вообще мсье Байун, с его совершенным Сознанием, мог бы об этом знать, а возможно, и знал. В противном случае такая фраза была бы совершенно бессмысленной. Во всяком случае, после Маврикия стало настолько жарко, что я уже не мог заснуть. Рокочущий кондиционер до такой степени сводил меня с ума, что с той поры я его всегда выключаю. Но из-за этого в каюте становится по-настоящему жарко. Так что и тот, кто не обладает Сознанием, не может заснуть. Кроме того, Татьяна снова и снова его включает.

Она, конечно, права – на корабле нельзя открывать окна, тем более если ты находишься глубоко внизу. Но тогда воздух становится плохим и пахнет, к примеру, спаньем. И если ты тогда начинаешь потеть, то о сне и вовсе нечего думать. От этого только будешь потеть еще больше.

Поэтому для меня не оставалось другого выбора, кроме как встать. И тогда понятно, что я ничего не имел на себе, кроме пижамы и наброшенного сверху халата. В ботинках при такой жаре так или иначе ни один человек не нуждается, а вот в трости – само собой, да.

Поднявшись по металлическому трапу, что по левому борту, я сперва остановился. Я ни в коем случае не хотел, чтобы меня заметили, хотя бы из-за пижамы, на которую на-

брошен лишь халат. Остров уже совсем не был виден. Только чернильная синева и, в точности как вчера, небосвод из миллионов бриллиантов на ночном бархате, баюкающем нас. Чего я все еще по-настоящему не понимаю. Подо мной, на крыле ходового мостика, стоял вахтенный и курил сигарету.

Вероятно, дверь в ходовую рубку была открыта, потому что этот человек разговаривал с кем-то — возможно, с рулевым. Поскольку оба разговаривали по-русски, на таком отдалении нельзя было разобрать, что именно они говорят. Вместо этого я внезапно слышал доносящийся из-за надстройки шепот. Скрипнули кроссовки. Тогда я осторожно заглянул за угол.

Шепот исходил от трех или четырех молодых людей. Они поднялись по трапу на пеленгаторную, самую верхнюю под небом палубу. Проворные, как белые обезьянки, шмыгнули наверх, к радару. Они, похоже, так же мало хотели, чтобы их заметили, как и я. Как пассажиру, мне по этому трапу подниматься в любом случае не разрешено. К тому же проход загорожен цепью. Через нее переступит, само собой, только тот, кому не приходится опираться на палку.

Тем не менее среди них был один из пассажиров, не только члены экипажа. Он не так молод, как другие. И уже несколько раз попадался мне на глаза. По вечерам он почти всегда носит светлый костюм и галстук. На борту так одеваются только по особым случаям, чтобы сфотографироваться с капитаном. Что часто длится часами. Люди собираются

перед лаунж-холлом. Петра тоже от меня бы этого потребовала. Она всегда стояла на том, что человек в жизни должен чего-то добиться и считаться важной персоной.

Вот пассажиры и хотят в такие дни, чтобы капитан это подтвердил. Удостоверил своим персональным рукопожатием. А чтобы они об этом не забыли, фотографируются все подряд: пара за парой, и он всякий раз между двумя. Иногда он обнимает женщину за талию. Я имею в виду капитана.

Но фотографируют их лишь в коридоре перед лаунж-холлом, с картонным кораблем-грезой на дальнем плане. Мистер Гилберн насмешливо рассказывал, что за три маленьких снимка они *раскошеляваются*, это его слово, на целых двадцать четыре доллара. Боже, вырвалось у него, новую песню воспою Тебе! И он усмехнулся.

Я же подумал, что с помощью этих костей, быть может, удастся даже отсрочить смерть. Нужно только удерживать ее в поле зрения, постояннонося их с собой. Но это ведь большой ящик и тяжелый. Тогда как мсье Байун, наоборот, опасался, что ими ее лишь привлечешь раньше срока. Поэтому он так испугался перед моим первым Бали, когда я, с одним кирпичиком-цветком в руке, шагнул к леерному ограждению. Тогда нас кто-то позвал, из-за дельфинов, правда, крикнув с солнечной палубы вниз. Никому не надоедает смотреть на них, с Сознанием или без. Внезапно мсье Байун подскочил ко мне. Я никогда не подумал бы, что он еще настолько проворен. Но он действительно прыгнул. Стоп! – крикнул.

Осторожно! И оторвал мою руку от леера.

Слава богу, сказал, вынув из моих пальцев игральную кость. И, как если бы крикнул еще раз, предостерег. Такое вы никогда не должны делать! Если вы по недосмотру ее уроните, умрет кто-то, для кого, возможно, все еще не зашло настолько далеко. После чего он рассказал мне легенду о Гу-фе и что воробьи значатся в списке птиц, находящихся под угрозой вымирания. В большинстве городов уже не хватает мест, сказал он, пригодных для их гнездования. Кто же тогда будет приносить души новорожденным детям?

Возможно, так я после подумал, это тоже сюда относится. Не то, что он сказал про детей, а что в таком случае для кого-то все пойдет настолько далеко. Только тогда уже именно из-за меня. И я представил себе, как один из этих дельфинов подхватил бы такой кирпичик. Не позволив ему утонуть. Он осторожно доставил бы его, зажав между зубами, очень осторожно, в то место, к которому он действительно относится. Мы бы тогда, помимо прочего, узнали, кто это был – тот, что умер. В случае чьей-то смерти слух об этом распространяется на борту быстро. За исключением, может быть, ситуации, когда больной умирает в госпитале, на самой нижней палубе, над машинным отделением. Где имеется еще и этот Оазис – велнес-клуб «Оазис», с парикмахерской и косметическим кабинетом и сауной, – позади плавательного бассейна. Для умерших на борту имеются холодильные камеры, четыре.

Но и мне тоже, босому и в халате, становилось все холод-

нее на передней части палубы, и особенно – из-за возобновившегося ржания. Ветер ведь так высоко вздымал передние копыта. Лучше я опять пойду внутрь, подумал я. Но что-то меня удерживало.

Я взглянул вверх, на радар, как если бы они, молодые люди, и теперь сидели там наверху. Как когда было еще очень тепло и мы стояли напротив Маврикия. Один из них, представил я себе, во время экскурсии на берег раздобыл гашиш. Я тоже раньше охотно кумарил. А какое место подходит для этого больше, чем парящая высоко над морем площадка? Она в самом деле витала под сверкающим небом Юга, раскачиваясь туда и сюда. Весь Универсум, как одна-единственная волна, приподнимался в этой покойной колыбели. И вновь опускался; вверх и вниз, вверх и вниз. Я бы сам так охотно посидел с ними, в то время как косяк переходил бы по кругу из руки в руку. Я бы и не говорил ничего. Хотя бы уже потому, что с нами сидела бы Катерина Вершевская. Просто смотреть на нее. И прислушиваться к ним, этим молодым людям. Они, правда, переговаривались шепотом, ведь рядом кто-то нес «крысиную вахту».

Кроме того, наверняка по кругу пускали бутылку.

Я, однако, не только бросил курить, но и не пью больше. Хотя до Барселоны я еще пользовался своим *all inclusive package*¹², насколько это получалось. Но когда ты смотришь на город и знаешь, что отныне уже никогда не сойдешь на

¹² «Полный пакет услуг», «всё включено» (англ.).

берег, тебе и напиться больше не хочется. А в результате ты не можешь заснуть. И лишь ворочаешься на простыне.

Тем не менее, похоже, я все-таки лег в постель, после того как мистер Гилберн проводил меня до двери каюты. Как если бы он получил такое задание от Татьяны. Это ведь она не желает, чтобы я по ночам, как она выражается, *озорничал* на палубах.

Но я, похоже, не мог заснуть и беспрестанно крутился. В каюте было так душно, припоминаю я, что весь корабль во мне встал на дыбы. Он не просто покачивался, нет, он взбунтовался. Он подбросил свой буг на метр над волнами и потом опять жестко об них хряснулся. Так, что каждая балка крикнула. Выдвижные ящики выкатились из комодов. Стан для воды соскользнул с тумбочки и разбился. Так что я поднялся, чтобы собрать осколки. Иначе на завтра из-за них возникли бы неприятности.

Где же прогулочная трость, где мои очки? Сперва хотя бы зажечь свет. Мне приходилось быть дьявольски внимательным, чтобы не наступать на осколки и не загнать их в ступни. Но наклоняться мне тяжело. Нет, наружу! Мне нужен свет! Так что я каким-то образом, видимо, опять облачился в халат, прежде чем оказался стоящим совсем впереди у верхнего леера, под этим прямо-таки штормовым ветром. За спиной у меня – длинная крытая одинокая надстройка, на ней радар, а сзади – дымовая труба. Передо мной, двумя ярусами ниже, – тускло освещенные немногими судовыми фона-

рями балконы трех съютов класса люкс. Под ними еще палуба бака, сужающаяся до самого колокола подобно голове аллигатора. Медный, висит он непосредственно перед угловатым носовым ограждением. В полдень, пунктуально в двенадцать, в него ударяют. А перед каждой гаванью полируют его.

Именно с помощью такого колокола на кораблях прошедших времен, как выразился мсье Байун, *отбивали склянки*. Каждые полчаса – удар; каждый полный час – два удара; число ударов возрастает максимум до восьми, потому что на этом вахта заканчивается.

На палубу бака разрешается проходить только членам экипажа. Потому что здесь, между якорными лебедками и свернутыми в бухту тросами, а также удлиненными, тесно прилегающими друг к другу петлями носового шпринга, может быть действительно опасно. Среди всех этих канатов, и тросов, и швартовных кнехтов, и, между ними, – стальной трубы, идущей снизу. Из нее торчит, наискось по отношению к палубе, стрела грузоподъемного крана.

Там мы бы просто мешали людям работать.

Под звездами, однако, мне подумалось, что, может, он отбивает удары чаще. Я имею в виду колокол. Только мы его не слышим, пока Сознание еще не вполне прозрачно. Если же оно стало таким, тогда он звучит и зовет нас. Ведь, хотя так сильно штормило, звездное небо было распознаваемо в своем целостном Всебытии. В своем Всеединстве, подумал

я. Так что я спросил себя, откуда же, собственно, пришел этот ветер, если надо мной нигде нет облаков. Но тем не менее луны тоже не было видно.

Оно происходит. Потому что «маджонг» означает: воробыная игра.

Иногда мне кажется, будто я охраняю последних воробьев. Они ведь вымирают. Хоть мне и трудно в это поверить. Достаточно пойти в какой-нибудь парк, где имеется кафе. И вокруг тебя их сразу соберется несколько сотен. Голубей, само собой, еще больше. Но уже из-за этого я буду следить за маджонгом. И лучше всего никому его не показывать.

Никогда прежде не был я настолько сосредоточенным. Такое, думаю я иногда, стало возможным только из-за страха. Маджонг, так сказать, – один из резерватов для воробьев.

Тем хуже то, что произошло, когда я захотел вернуться в свою каюту.

Ведь из-за того, что я так сильно дрожал от холода, я заблудился в коридорах корабля. И еще – из-за постоянно возникающих во мне образов, но также из-за тоскования. Я в самом деле что-то искал в этих коридорах: взгляды искал и голос, которых нигде не было. Так поздно ночью их и не могло быть. Но этот взгляд, который Катерина каждый раз обращает на скрипачку! Наискось и вверх от рояля. Когда они должны решить, какое произведение сыграют следующим.

Между тем я не хотел воспользоваться ни одним из лиф-

тов. Потому что они тесные, как тюрьмы. Туда бы ее голос не проник. Кроме того, там встроены камеры наблюдения. И меня, не имеющего на себе ничего, кроме купального халата, наверняка засекли бы. Почему я не мог спросить о ней и на ресепшене, где всегда кто-то несет ночное дежурство. Уж ресепшен я бы точно нашел. Напротив каждого внутреннего трапа, чтобы пассажир мог сориентироваться, на стене висит схема нашего корабля в вертикальном разрезе.

Так или иначе, но я не помнил номера своей каюты. Признаться в этом было бы мучительно. И потом еще – опять эти неправильные слова! Ведь и другие ночные дежурные – русские, и они нашим языком по-настоящему не владеют, как и украинки. Так что я решил обойти ресепшен стороной. Но это означало, что мне пришлось спуститься еще глубже в недра корабля. Я ведь спускался сверху. Да и моя каюта находится ярусом ниже. Это я все-таки еще помнил.

Какую-то из палуб я обошел всю целиком. Я обошел обе ее стороны, по правому и по левому борту, по ужасающе бесконечному коридору, от начала и до самого конца. Потом развернулся и побрел обратно, от конца к началу. Перед каждой дверью я останавливался. Пятьдесят, шестьдесят дверей, выходящих в сторону моря, примерно тридцать – во внутреннюю часть корабля. Это мне нужно бы проверить потом. Но сперва я должен отыскать план палуб, на котором каюты отмечены своими номерами.

Главное, я не решался попробовать, подходит ли ключ. Я,

бога ради, не хотел разбудить кого бы то ни было, кто мог бы принять меня, к примеру, за взломщика. Назавтра он бы пожаловался Татьяне. Что я нарушил его ночной покой.

Она ведь уже из-за осколков будет со мной ругаться, достаточно сильно. Стакану-то теперь каюк.

Поэтому я даже не доставал свой ключ из кармана. Я думал, достану тогда, когда буду совершенно уверен, и попробовать ничего не придется. И все-таки я ощупывал себя, сперва слева, потом справа – прихватил ли я его вообще. С этим возникла проблема. То есть при мне ключа не было. Или я его потерял, когда штормовой ветер едва не сорвал с меня купальный халат. В тот момент его просто выдуло из кармана, такое вполне представимо. Ведь, кроме ветра, ничего нельзя было расслышать, а уж ключ и подавно. Он в лучшем случае звякает, когда обнаруживает свое присутствие. В лучшем случае это короткий звон. И при таком ветре его попросту не услышишь. Если же нет, то, значит, моя каюта теперь доступна для каждого. А там ведь хранится доставшийся мне от мсье Байуна маджонг со всеми его воробьями. За которыми я должен следить! Чтобы не умер кто-то, чей черед еще не пришел.

И тут меня привела в полное замешательство мысль, что я никогда в жизни не был надежным. А теперь, когда я хочу стать таким, я этого уже не могу. На меня никогда никто не мог положиться. Это нависало надо мной, как злой рок. И дело тут вовсе не в моем равнодушии. А в том, что я был

невнимательным. И ведь я принял его на себя, это обязательство. Оно оставалось со мной со времени Ниццы как наследие, для которого, как теперь оказалось, я слишком слаб. Тогда ночью. Я всего лишь не мог заснуть. А теперь я одинок, как Свен, когда он был еще маленьким, я же – слишком занятым своими делами, чтобы поиграть с ним. Я ведь всегда находил это обременительным, когда он приставал ко мне. Когда цеплялся за меня – к примеру, за ногу – и не отпускал, потому что чего-то от меня хотел. Или когда он пытался покататься верхом на подъеме моей стопы. Неужели я не могу в этом доме *хоть раз* насладиться покоем? И вот теперь все это вернулось ко мне.

Так что я остановился перед «Велнес-Оазисом». В такое время, само собой, он был закрыт. Во всяком случае, как мне казалось, я спустился на одну палубу ниже. Но я, конечно, не имел намерения посетить сауну. Мне она противопоказана хотя бы из-за сердца. Иначе я бы еще и теперь курил. Однако поскольку мне нравится ходить босиком, от педикюра я бы не отказался. Будь у них открыто, я бы об этом спросил. Но напротив была еще одна дверь, с табличкой *Staff only*¹³. Теперь я уже не видел другого выхода, да и дверь эта открылась легко.

¹³ Только для персонала (*англ.*).

10°59′ ю. ш. / 12°13′ з. д

Все это было для меня, если подвести итог, несказанно мучительно. Хотя я обладаю Сознанием – плачевно, и только. Оно меня в тот момент покинуло. Так сильно лягнула Кобыла.

Правда, Патрик меня успокоил, по крайней мере поначалу. Доброжелательно пошутил: мол, такое может случиться с каждым. Что люди, и даже часто, споткнувшись о стальной комингс, падают. К этому, мол, здесь привыкли, это они уже знают. Он имел в виду корабельный госпиталь. Достаточно, чтобы корабль сильно накренился, когда человек этого не ждет.

Но меня главным образом преследует мысль о его Сознании. Что затронутыми могут быть и такие вот молодые люди. Хотя ему, конечно, уже пятьдесят, почти.

Так или иначе, но после позднего завтрака с мистером Гилберном я снова уединился. Я хочу в одиночестве подумать о происшедшем, освободившись от ночной паники. Четвергового цвета море мне поможет. Ведь сегодня ветрено, очень пасмурно. В этом, одиноко и разреженно, – толика западной синевы.

От острова Вознесения – Ascension¹⁴ – нас отделяет толь-

¹⁴ (Остров) Вознесения (исп., англ.).

ко один день. *Ascension* – произносить это надо на английский манер. До вчерашнего дня я произносил по-испански. Потому мистер Гилберн сперва и не понял, о чем я. Под конец он расхохотался, усмотрев в этом нечто комичное. Уже после своей яичницы. С острова Вознесения, объяснил он мне, Англия вела Фолклендскую войну. Там делали промежуточную посадку боевые самолеты. Там же имеется и станция НАСА. Тут я сразу уразумел, почему здесь ночами такое небо. Тогда как утром все затянуто тучами, а потом неизменно льет дождь. Все это лишь для того, чтобы следующая ночь опять была ясной, как удобно обсерваториям. На Атлантике ведь нет настоящих гор, таких как Маунт-Паломар, например, чтобы строить на них обсерватории выше уровня облаков. Куда никаким дождям не добраться.

Я пробил оболочку немоты, когда уже не выдерживал собственного молчания. После моего второго Бали и когда наконец обогнул Австралию. После тумана Капштадта и одиноких китов, чьи зовы подобны взыскующим корабельным гудкам. После длительных рыданий моего визитера. Но поскольку я все-таки не хотел говорить, стюард в одном из двух галерейных бутиков купил для меня большую тетрадь. Прямо посреди Южной Атлантики.

Ведь когда ты говоришь, ты делаешь себя уязвимым. Лишаешься последнего средства самозащиты. Этого я ни в коем случае не мог допустить. Я должен охранять воробьев.

Правда, сперва я опасался, что ждать с этой тетрадью придется до следующей земли, а там – обратиться с просьбой к кому-то из пассажиров. Но этот узкоплечий человек в белой форме оказался очень услужливым. Мне даже не пришлось говорить. Он сам пришел к такой мысли, когда немножко флиртовал с Татьяной перед моей каютой. Им не мешало, что дверь была открыта. С моим господином Ланмайстером дела обстоят так печально, сказала Татьяна. Никогда не знаешь, чего он хочет. И тут-то стюарду, будто он подслушал мои мысли, пришла в голову идея с тетрадью. Может, он сможет писать, сказал он. На что Татьяна ответила, что все это они уже пробовали, к примеру, с карточками. Но он, наверное, всегда их куда-то не туда перекладывает. Или же просто о них забывает.

Тогда я еще не знал, кто ты. Я это знаю только с позавчерашнего дня. И лишь теперь понял, что ты никогда не станешь эти тетради читать. Ты ведь родом из России; или из Украины. Поэтому ты – как и те, на ресепшене, – мои слова не поймешь.

Может, поэтому я так отчаялся прошлой ночью и поэтому искал тебя. Я хотел всё объяснить тебе глазами и руками. Мне было ужасно жаль, что на ваши концерты всегда приходит так мало слушателей. На самом деле, всего шесть каждый вечер. А ведь я причисляю к ним и мистера Гилберна. Так что я понадеялся, что ты не посмотришь в зал, когда раздадутся жидкие аплодисменты. Или ничего не увидишь,

потому что, наверное, должна носить очки. Ты их из-за трогательного тщеславия не носишь. Хотя нуждаешься в них, чтобы читать ноты. Конечно, ты давно знаешь эти пьесы наизусть. И только из деликатности делаешь вид, будто играешь с листа. Это ведь так называется, *с листа*?

Меня тронуло, что ты скопировала все ноты. И как ты складываешь листы, край к краю, в пластиковые папки. Как аккуратно убираешь стопку папок в портфель. Который ни для чего другого не нужен.

Но прежде всего был взгляд, этот – не писал ли я уже о нем? – взгляд вверх. Он проник в меня. Хотя предназначался вовсе не мне, а Ольге, твоей подруге-скрипачке. Словно ища чего-то, поднимается он снизу вверх. Перемещается от клавиш к струнам, находит там руку твоей подруги. В ее глазах сперва неуверенность. На твоих же губах улыбается боль. Потому что только она, Ольга, всегда всё решает. И все же вы сыграли Баха.

Дело в том, что у барной стойки сидел этот человек в светлом костюме, на сей раз даже с жилетом. Заметив его, я слегка вздрогнул. Не только потому, что он именно тот, кого я видел перед Маврикием. Кто вместе с другими поднялся к радару. Но потому, что я даже не могу назвать то в нем, что меня так сильно отталкивает.

И тот красивый стажер тоже вдруг оказался среди слушателей. Которому вы, женщины, не даете проходу из-за его зубов. Вы тогда уже почти закончили программу.

Он смотрел на тебя, как мы восторгаемся твоим обликом феи. Ты уже всецело стала ласточкой. Никто бы не удивился, если бы ты, снаружи, просто поднялась в воздух. Если бы взмыла в эфир, чтобы, ликуя, описывать в нем все более широкие траектории. Выше и выше, по все более узким эллипсам. Еще и поэтому я отчаялся. Я чувствовал, что больше этого не могу, никогда больше не смогу стать второй ласточкой. И все же я слышу крики, призывное: *А ты рискни!* и — что я не должен бояться.

Может, я бы осознал это и раньше. Но раньше я не хотел. Именно в тот момент, когда я понял, что значит слишком поздно, Человек-в-костюме возле барной стойки сказал: *Please play a piece by Bach*¹⁵. Ты как раз подняла к Ольге этот взгляд.

Твой взгляд переместился к нему, как если бы ты не слышала. Как мог бы здесь кто-то попросить о чем-то подобном? И тем более ты не понимаешь почему. Но я, потом, это понял. Все произошло ради меня. И еще вот что внезапно стало ясно: этот человек уже несколько недель наблюдает за мной. Правда, он делал и делает это незаметно — с холодной, можно сказать, заинтересованностью. Но это только притворство, чтобы отвлечь внимание от себя. Ведь и он тоже не подходит для ласточки.

Правда, может быть и так, что сам он еще не знает об этом, а только смутно догадывается, как кто-то предчувствует из-

¹⁵ Пожалуйста, сыграйте что-нибудь Баха (англ.).

менение погоды. Ведь он восхищался тобой точно так же, как мы, другие. Черты его лица такие жесткие, будто он не только повидал все безобразия мира, но и сам участвовал в них. Потому-то у него и не осталось на голове ни единого волоса. Тогда как тебе еще даже нет тридцати, так что лишь телесность может быть мостом из какого-то другого языка – к твоему. К тебе нельзя приблизиться иначе чем через юность, нельзя – через зрелость. Она бы слишком отягощала тебя в полете. И уж тем более – по трухлявым мосткам житейского опыта.

Еще и поэтому ты засомневалась, услышав имя Баха, и решение опять-таки приняла твоя подруга. Так что по твоим губам опять скользнула боль. Потом вы начали играть «Арию». Что для ласточки – слишком медленный полет.

Мистер Гилберн только пощипал яичницу, а съесть ее за-был. Может ли быть, что он немножко не в себе и вообще стареет? Помимо прочего, он мне пожаловался, что в полдень суп никогда не бывает по-настоящему горячим.

Неужто чутье к комичному ему отказывает, именно когда речь идет о таких банальных вещах? Вот госпожа Зайферт, наоборот, всегда боялась обжечь супом язык. И потому всегда с преувеличенным усердием дула на ложку. Она, впрочем, ничего, кроме супа, и не ела, изо дня в день, и еще – подсушенный хлеб. Как она может при этом выглядеть такой цветущей, спрашивал я себя. Она и курила больше, чем

мистер Гилберн. Почему он и утверждает, что чаще сидел с ней снаружи. Она, как и он, крутила себе самокрутки. Тем не менее я его рядом с ней никогда не видел.

Своей тростью она, по правде говоря, не пользовалась. Собственно, она и не ходила, а скакала. После каждого супа она сразу выскакивала наружу, к курильщикам, и подскакивала к их столику.

Она была забавной, эта госпожа Зайферт. Всегда в беседе, помогая себе желтыми указательными пальцами. Ногти почти оранжевые. Часами рассказывала она что-то из своей жизни, к примеру, мсье Байуну и мне. Потом вдруг исчезла, между ночью и утром. Теперь на ее месте сидит клошар, и тоже, как она, до раннего утра. Пока рядом с бассейном не начинают мыть палубу. Тогда ему приходится освободить свой стул.

Неужели у него вообще нет каюты? Такое мне трудно представить. Должен же он где-нибудь чистить зубы. Во всяком случае, до Австралии я не знал, что клошары попадают-ся и на море. Поскольку столики для курильщиков – это места встреч, наш клошар тоже редко остается в одиночестве. Само собой, и уголки для курильщиков таковы, например тот, что расположен палубой выше, по правому борту, рядом с «Ганзейским баром». Там можно сидеть напротив террас для загорающих, в угловатых плетеных креслах с мягкими подушками, прихлебывая коктейль, стоящий перед тобой на стеклянном столике. Я, само собой, этого не делаю, потому

как пить бросил. Мне приносят воду или фруктовый чай.

Во всяком случае, клошар может решать столько кроссвордов, сколько пожелает, и он постоянно с кем-нибудь разговаривает. То и дело кто-то подсаживается к нему и о чем-то спрашивает. Не успеешь оглянуться, как возле столика для курильщиков не остается ни одного пустого стула. Однако с госпожой Зайферт взаимопонимания он бы нашел больше, чем с кем-либо. Возможно, мистер Гилберн немножко ему о ней рассказывает.

Почему я сам этого не делаю? Это было бы легче легкого – подойти к нему, может быть, ночью, когда даже курильщики уже у себя в каютах. Так что он, как когда-то госпожа Зайферт, сидит в одиночестве: перед ним только бутылка красного да очередной кроссворд. Я ведь тоже никогда не сплю. И я спрошу, не против ли он, чтобы я присоединился к нему. И он наверняка не станет возражать.

Тогда я покажу ему свою трость и расскажу, как это комично, что хотя госпожа Зайферт и подарила ее мне, но сама ею никогда не пользовалась. Зато охотно ею грозила, в шутку. Кельнершам, например, а однажды – даже директору отеля. Тот как раз пересекал наискосок палубу юта, и каждый мог слышать, как он окликнул ее, назвав Бабушкой Венерой. Ну, Бабушка Венера, как дела?

Это мне рассказывал еще мсье Байун, но именно как слух, – будто она за сигареты, которые на борту весьма не дешевы, время от времени позволяет кому-то ее потискать.

Что, очевидно, слышал и доктор Бьернсон, но он-то воспринял сказанное всерьез. И теперь пожелал по этому поводу пошутить. Но госпожа Зайферт парировала его выпад с полнейшей *суверенностью*, как выразился мсье Байун. Хотя бы уже потому, что все, кто грелся на солнышке, усталились на нее. Это было перед Сардинией, как мне кажется. Или в Суэцком канале? – Такого я от нее не ждал, сказал мсье Байун.

Она, значит, подняла свою трость и издали в шутку погрозила доктору Бьернсону. Потом вскочила и крикнула: *Кто я такая, знает весь свет, во взгляде моем найдете ответ!* После чего снова повернулась к курильщикам и превратила трость в дирижерскую палочку. Но она лишь поднимала и опускала ее, задавая ритм, – как дирижер движущегося духового оркестра. К началу второй строфы пели уже все. Хотя, само собой, сидя. Подпевал даже мсье Байун, сидевший напротив меня за воробьиной игрой. Правда, он только жужжал, без слов. Тем не менее мне это было неприятно. Ибо не соответствовало облику этого маленького, жилистого человека. Ни его коричневой, обветренной коже, ни сигарилле. Даже не могу сказать, почему я позже принял от нее эту трость.

Я несравненная Лола,
звезда любого сезона!
И дома стоит пианола
в углу моего салона.

Я несравненная Лола,
любима любим из вас!
И все же к моей пианоле
доступ закрыт сейчас!

В тот день мистера Гилберна еще в любом случае с нами не было, иначе я бы его заметил раньше, а не только вчера, когда наблюдал за ласточками. То есть спустя почти год. Тогда как доктор Бьернсон, конечно, должен был признать свое поражение самое позднее, когда слушал последнюю строфу, поскольку «тому врѣжу...» курильщики уже не столько выпевали, сколько горланили. А главное – из-за «педали».

И кто возмечтает со мною
нарушить сладко мораль,
тому врежу так, что взвоят,
и наступлю ему на педаль!

Но это, как выяснилось, было еще не окончательное его поражение.

Дело в том, что выше, на солнечной террасе, сидели двое из службы развлечений. Как раз там – в перекрытом маленьком уголке для курильщиков, перед стеклянными столиками. Тогда как мы расположились палубой ниже, на юте. Тех двоих привлекло пение, и они подошли к перилам, чтобы посмотреть вниз. Что, дескать, у нас происходит? Почему Кэролин потом и исполнила именно эту песню во время ве-

черного шоу. Я имею в виду, в большом лаунж-холле. И в конце концов со всех трехсот или четырехсот мест раздался чудовищный взрыв хохота, на какие-то минуты заполнивший помещение до самого потолка.

Я тогда поднялся с места и вышел, потому что мне вспомнилась моя бабушка. Русский ребенок, русский ребенок... Но должен признать, что доктор Бьернсон воспринял случившееся поистине великодушно, уместно так сказать? *великодушно*? Ибо на следующий день, опять-таки после супа, он подошел к госпоже Зайферт с неохватным букетом цветов и положил его на столик для курильщиков, прямо перед ней. И потом извинился.

Где он умудрился раздобыть цветы посреди океана – вот чего я не понимаю. Но главное, что мне это сейчас снова вспомнилось и что эта история наверняка порадует клошара, когда он ее услышит.

С другой стороны, у него, собственно, нет таких денег, чтобы каждый вечер выпивать по бутылке вина. Если только это не какое-нибудь дешевое пойло, которое у нас на борту при всем желании не раздобудешь. Корабль-греза заинтересован в доходе от путешествий. В конце концов, нужно платить жалованье команде. Судоходство, само собой, – тоже, как и рекламный отдел, только благодаря которому я и обратил внимание на эти круизы. Ведь на настоящем пассажирском пароходе я еще никогда не путешествовал – только на пароме. Нет, все-таки один раз, с Петрой. Был ли это тоже

круиз? И иногда катался на, как бишь это называется? – на яхте.

Что мне всегда нравилось, ведь раньше это был мой способ путешествия к звездам. В подростковом возрасте я мечтал стать астронавтом – Сатурн-1, Сатурн-2, Аполлон... Для меня это стало большим шагом вперед. По крайней мере, позже пошло мне на пользу, поскольку кильский деловой партнер одного из китайцев тоже обзавелся яхтой. Увиливать от его приглашений я в любом случае не мог. Это было бы неумно, пока бизнес с полупроводниками еще существовал.

С другой стороны, море всегда казалось мне жутковатым. Странно, что именно жуткое так сильно влечет нас к себе. А откуда взялось мое увлечение астрономией, я уже не помню. Но от последней морской прогулки, на которую меня пригласили, мне пришлось отказаться, из-за сердечного приступа. Я тогда слишком сильно нервничал. Потому что прокуратура всё долбила и долбила свое. А сразу потом – бракоразводный процесс. С самого начала было совершенно ясно, чем он закончится. И к этой беде добавилось еще то, что Свен, само собой, принял сторону матери. Так сильно она его настраивала на меня, и Гизела тоже. И он все это про меня выложил, прямо перед судом. И потом вообще отказался со мной разговаривать. И не отступился от этого до нынешнего дня. Так что характер у него есть, как сказала бы моя бабушка. Почему мой врач и считал, что мне нужно срочно сме-

нить обстановку, уехать как можно дальше от всего этого – иначе, дескать, вы отдадите концы.

Я иногда думаю: Свен мог бы теперь появиться на нашем корабле, завтра, к примеру, и я бы его не узнал. Чепуха. Что ему делать на острове Вознесения, где есть только боевые самолеты и обсерватории НАСА? Значит, этого можно не опасаться. – Но кто, собственно, еще остался из курильщиков?

Клошар, во всяком случае, появился на корабле уже после того, как мы обогнули Австралию. Когда во Фримантле прежние пассажиры сошли на берег и на борт поднялись новые.

Там обходятся без всяких палаток. Там гигантский терминал, и сразу позади него – сонный, таким он выглядел, железнодорожный вокзал.

Там, скорее всего, поднялся на борт и тот Бритоголовый, который всегда носит светлый костюм. Тем не менее я не думаю, что эти двое знают друг друга. Но клошар именно поэтому упустил возможность познакомиться с госпожой Зайферт и теперь может разве что слушать рассказы про нее.

Она была первой из тех, свидетелем чьего ухода мне довелось быть. Я имею в виду тот уход, который есть нечто наподобие пребывания, и пребывание, которое уходит. Пока не получается в конце концов так, что ничего больше нет, раз уж ты не способен узнать даже собственного сына. А вот того, не правдива ли все же история с сигаретами, я так и не узнал. Вполне может быть, что мсье Байун просто не хотел

подтвердить мне это, ведь госпожа Зайферт ему нравилась. Для него самого, поскольку он курил сигариллы, это в любом случае никакой роли не играло.

Я же свои три сигары отложу на самый конец.

Если человек не делится воспоминаниями, как он может достичь взаимопонимания с другими людьми?

Татьяна застигла меня в неудачный момент, но она не произнесла ни звука по поводу осколков на полу. Ты о них уже знаешь. Те ведь ушли, и только Татьяна все еще наводит у меня порядок. Нет, она была по-настоящему сердечна, дотронулась до моего плеча, но, само собой, осторожно. Вы должны что-нибудь поесть, господин Ланмайстер, сказала она еще раз. Хотя я уже успел позавтракать. Само собой, ей я этого не сказал, иначе мне пришлось бы с нею заговорить. Чего я по-прежнему не хочу. Решись я на такое хоть раз, Катерина, можно мне называть тебя по имени? – и я почитаю что погиб. Я просто пропаду. Потому что тогда она начнет аргументировать. А если это произойдет, то и я должен буду приводить какие-то аргументы. На что у меня больше нет сил. Так что гораздо умнее поначалу вообще не обороняться. А просто допускать, чтобы происходило все что угодно, но самому не занимать всерьез никакой позиции. Ведь позицию нужно еще уметь отстаивать.

Я, впрочем, устал. В середине дня я вообще всегда бываю

усталым, если не удалось поспать ночью. На сей раз она это сама поняла. И отказалась от мысли вести меня обедать в «Заокеанский клуб». Что в любом случае выглядит комично – если горничная, «комнатная девушка», ведет себя таким образом.

«Комнатная девушка». Она никакая не девушка, а взрослая женщина, ей наверняка уже за сорок. И ростом она на голову выше меня. Поэтому на корабле ее называют еще и «housekeeper»¹⁶. Что для сорокалетней горничной гораздо уместнее.

Тем не менее я должен был съесть «хотя бы яблоко». Она, дескать, его уже очистила. Но сперва забрала у меня трость госпожи Зайферт. Потом помогла мне улечься на кровать, сняла с меня очки и положила их на ночной столик. Только потом вынула яблоко из фруктовой вазы и положила его на картонную тарелку. Предназначенную, собственно, для отходов. Затем разрежала яблоко на ломтики, села напротив на стул и неотрывно приглядывала за мной. При этом протягивала мне кусок за куском и в самом деле сказала *молодец*, поскольку я их жевал. Что мне с вами делать, сказала она. Вы едва не накликали на себя смерть. Вы же прекрасно знаете, что на судне имеются места, которые для вас под запретом.

*Staff only*¹⁷, невольно вспомнилось мне. Уже поэтому не было смысла противоречить ей, даже ссылаясь на факты. По-

¹⁶ Домработница, экономка, домоправительница (англ.).

¹⁷ Здесь: только персонал (англ.).

этому я воздержался от того, чтобы, к примеру, вздохнуть, а только жевал и жевал. И когда дожевал до конца, позволил, чтобы она помогла мне освободиться от ботинок, которые я в любом случае ненавижу, и от пиджака. И брюки мы тоже снимем, сказала Татьяна. Вы ведь знаете, что в уличных брюках никто не ложится в постель.

Корабль-греза порой превращается в пригрезившийся кошмар.

Но ты права, я преувеличиваю. Преувеличение – мать учения, всегда говорила моя бабушка и превратила этот тезис в искусство. Воспитывала меня, собственно, она. Мать тогда была слишком юной. Кроме того, она меня ненавидела. Но для деловой жизни мне это позже пригодилось. Если ты сызмальства натренировался, как, к примеру, из одной лошадки сделать три и из единственного автомобильчика – заполненную машинами парковку. Тогда тебе любой поверит. Между прочим, сейчас мне уже почти столько же, сколько было ей.

Семьдесят пять лет прожила моя бабушка, и до семидесяти четырех была здорова. Потом обнаружился рак, но даже и тут не обошлось без преувеличений. Ему потребовалось всего шесть недель. Но я не слышал от нее жалоб, и раньше тоже никогда. Разве что она постоянно называла меня «русским ребенком». Значит, Катерина, для нас с тобой, может, еще есть шанс. Но, само собой, русскому языку меня никто

не учил, мать вообще не упоминала моего отца. А если почему-либо не могла этого избежать, то называла его просто «русским». Бабушка называла меня «русским ребенком» даже тогда, когда я давно был взрослым. Иди сюда, русский ребенок, или даже: *мой русский ребенок*; а раньше, когда хотела, чтобы я оставил ее в покое, она говорила: Придержи язык, русский ребенок!

Мы еще успели отпраздновать ее день рождения: она, и Петра, и моя мать. Которой тогда перевалило за пятьдесят. Я тоже, само собой, и Свен, тогда еще совсем маленький – годиков пять или шесть. Бабушке нравилось ухватить его за щеку и за эту складку из кожи потянуть вверх. Такой ее фокус я хорошо знал по себе. Если он начинал плакать, она говорила: *Не реви*. Вы, дескать, будете плохими родителями, если позволите ему вырасти слабаком. Так что я наполовину русский, ведь это в то время мало что меняло. Бабушка так или иначе должна была всех нас кормить, поскольку мой дедушка вернулся без обеих ног. Подумаешь, одним маленьким ртом больше, да и речь идет всего лишь о русском птенце. Его мы уж как-нибудь да насытим. Дядя у меня тоже имелся, но он вскоре разбился на мотоцикле. И поскольку я в любом случае был сварганен каким-то русским... Тогда еще, прежде чем они бежали из Померании.

О таких вещах дома не говорили. Но я думаю, с матерью это случилось в Магдебурге. Или в Мёзере. Откуда мне знать? Во всяком случае, организовала всё моя бабушка.

Так они раздобыли себе документы, чтобы потом двинуться дальше на Запад.

Может, мать поэтому и не вышла никогда замуж и не захотела держать меня при себе. Бабушка же великодушно приняла на себя все последствия и, как она говорила, даже и не мечтала, что в жизни у нее все будет тип-топ. Русский ребенок, не забывай, кто ты есть. Такой, как ты, должен уметь *выкручиваться*. Это было ее любимое словечко – выкручиваться. И в этом искусстве я таки преуспел.

Может, мне потому и была неприятна та история с госпожой Зайферт. И смеялся я со всеми только для виду. Пока мне не стало совсем невмоготу и я не ушел. Хотя попал я на шоу, сопровождая мсье Байуна. Может, я потому и ношу сейчас ее трость, что у меня чувство, будто это знак примирения. С моей бабушкой, имею я в виду. Потому что меня обижало, конечно, что она меня так называет. А чтобы мать меня хоть раз обняла, такого я вообще не припомню. Только трость госпожи Зайферт меня со всем примирила.

Может, Сознание мсье Байуна это заметило.

Но может быть и так, что я сам рассказал ему о своей бабушке. Вероятно, в какой-то из моментов, когда мы играли в воробынскую игру. Поскольку море делает нас настолько неотягощенными, ты, находясь с ним лицом к лицу, вдруг теряешь страх. И тогда сам выпускаешь из себя что-то подобное. Моя мать, вероятно, страдала, потому что родила ребенка не пойми от кого. И потому что бабушка от нее этого

потребовала. Ей ведь тогда только исполнилось семнадцать или восемнадцать, и она была действительно прелестной де-вушкой. Таковую хотели даже офицеры. Они, правда, тоже бы-ли русскими, но платили едой и даже документами. Надо по одежке протягивать ножки, то бишь тянуться к своему по-толку, частенько повторяла бабушка. Невредно и вообразить его более высоким, чем он есть. Тогда даже каморка для слуг, мальчик, превратится для тебя в королевский зал. Где ты охотно позволишь, чтобы тебе оказывали всякого рода поче-сти. Это даст тебе совершенно другое самоощущение.

Поэтому я долгое время думал, что мать – это, собствен-но, моя бабушка, а та, наоборот, – моя мать. Она, можно ска-зать, пережила саму себя. Ведь едва ли назовешь жизнью то, как все обстояло с матерью в ее последние годы. Она просто не понимала, что делать. А я для нее был ребенком от рус-ского. От одного моего вида ей становилось не по себе.

Она никогда меня не хотела, и позже тоже нет. Так что ко-гда мать умерла, в пятьдесят девять, она оставалась для меня совершенно чужой. Надо было скорее с ней распрощаться, и дело с концом. Петра взяла это на себя – формальности и все прочее.

Внезапно во всем этом проглянул какой-то высший смысл. Чего я во время концерта, конечно, еще не знал. Сперва должна была прийти эта ночь с ее плачевным кон-цом. Так что я, в сущности, предпочел бы отдать все деньги тебе, а не Петре – после такого судебного процесса. Свен то-

же ничего из них не заслужил, в отличие от Татьяны. Ведь, в соответствии с неким высшим порядком, именно вы теперь моя семья. Даже в гораздо большей мере, чем мой собственный сын. На этом корабле я, значит, вернулся ко всем тем *другим русским*, которые так же одиноки, как я, и отрезаны от своей родины. Неважно, Молдова это или Украина.

7°59' ю. ш. / 14°22' з. д

Как называются по-русски ласточки? «Lastotschki», подсказало Сознание. Но «Lastivki», с «иф» в среднем слоге, – по-украински. Это было после дневного сна.

Какой нежный язык.

Когда я потом вышел на палубу, все уже вернулись.

Мне снились плохие сны. Но здесь, на юте, меня под ярчайшим солнцем обтекала такая свобода! Ветер просто сдул с меня всю тоску. Правда, из-за большого волнения на море запланированную экскурсию отменили. При такой мертвой зыби, дескать, нас нельзя пускать в шлюпки.

Мистер Гилберн сказал: это только потому, что мы слишком старые. Когда я от леерного ограждения глянул в сторону берега, он подошел ко мне и точно так же восхитился ласточками, как и я. Ведь я смотрел не столько на остров Вознесения, сколько и главным образом – высоко в небо. Там снова носились *Lastotschkis*. Супруги, празднующие серебряную свадьбу, подумал я. Это и есть такие супружеские пары! Чего мне мистеру Гилберну даже не нужно было говорить. Он видел и чувствовал сам, как все они окликают меня. Тогда как про остров Вознесения он сообщил, что там даже нет настоящей пристани. Мистер Дефрис, пояснил он, рассказал мне это, он ведь когда-то останавливался здесь. Представить вас ему? Правда, он говорит только по-английски, но для нас

это не проблема. Он действительно сказал: для нас.

Но я хотел стоять у леера и только неотрывно смотреть, как летают эти белые *Lastotschkis*, или *Lastivkis*. Мистер Дефрис, сказал мистер Гилберн, с самого начала сомневался, дойдет ли дело до экскурсии. Вы читали описание? Он имел в виду тот лист, в программе на день, где объясняется, что можно увидеть на этом острове и что там можно делать. Но главным образом – все то, чего там делать нельзя. К примеру, там нельзя фотографировать и уж тем более купаться. Само собой, при таком волнении никто бы на это и не отважился.

Но на тамошний мол, по словам мистера Дефриса, даже приходится подниматься, держась за канат. Этого я, с моей тростью, в любом случае не сумел бы. И мистер Гилберн тоже нет, и, собственно, вообще никто из пожилых пассажиров – неважно, с Сознанием или без. Поэтому с самого начала было ясно, что морских черепах никто не увидит. Если они вообще в это время года появляются там, чтобы откладывать в песок свои яйца.

Но *Lastotschkis* были здесь, сотнями. И этого хватало.

Мистер Гилберн все продолжал что-то мне говорить, я же в ответ только улыбался. Но показал тростью госпожи Зайферт в небо. Потом повернулся, чтобы по узкому трапу подняться на солнечную палубу. Там я хотел – как и в ту ужасную ночь, но только на сей раз по правому борту, – пройти вдоль надстройки спортивного комплекса вперед. Чтобы совсем впереди, возле стального фальшборта, остаться наеди-

не с этим зрелищем.

Но так не получается, когда мы прибываем в какое-то новое место.

Потому что тогда другие пассажиры тоже толпятся снаружи и, напирая друг на друга, загораживают тебе вид. Так что покой можно найти опять-таки только на шлюпочной палубе. Где я и расположился в шезлонге. Я, впрочем, вытянул его вперед, под спасательные шлюпки. В промежутке между любыми двумя шлюпками можно было бы свободно смотреть в небо. Однако каждую из шлюпбалок – со стоящей под нею, покрытой белым брезентом лебедкой – леерное ограждение угловато огибает. Получается П-образный меандр – так, кажется, это называют. Если подойти к выступающей части меандра, над головой у тебя будет круто подниматься вверх корпус шлюпки. Но смотреть вверх и оттуда можно.

На шлюпочной палубе никогда не слышно музыки. Кроме того, если ты выдвигаешь шезлонг далеко вперед, другие люди оказываются у тебя за спиной. Потому что все шезлонги стоят вдоль стены надстройки. Так что ты никого не видишь. Правда, справа и слева от тебя непрерывно хлопают тяжелые двери, когда кто-то выходит на палубу или заходит внутрь. Их просто никто не придерживает. Каждый тотчас отпускает. А поскольку внешние променады шлюпочной палубы используются главным образом чтобы куда-то пройти, хлопанье дверьми здесь не прекращается. Но когда ты так близко к лееру, это терпимо.

Как бывает с каждым островом, на который мы не вправе или не можем высадиться, мы один раз обошли вокруг него. И в конце концов мне стало не по себе от тамошних военных объектов – ангаров, например. Для чего служат многочисленные белые купола, разбросанные по всей равнине, вплоть до холмов? Остров Вознесения, кажется, – сама война, которая затаилась посреди океана и ждет, чтобы нанести наконец удар.

Или это были обсерватории НАСА и ЕКА¹⁸? О них тоже мистер Дефрис рассказывал мистеру Гилберну. – Там есть и горы, но по большей части только холмы. Покрытые зеленым ковром растительности. Я распознавал в нем серо-черные дороги, вероятно заминированные против шпионов. Самая высокая из вершин была сверкающе-серой. Почти что четвергового цвета.

Ни единого облачка не стояло в небе над практически бирюзовым морем. На глубоких местах оно было даже фиолетовым. Но когда я смотрел вдаль, волнение на море вообще не было заметно. Хотя после многонедельного плавания ты так или иначе уже не ощущаешь волн, кроме как при настоящем шторме. Только у берега, вдоль длинной линии скал, взлетали на метр пенные брызги. Тут я невольно подумал о райском саде, запретном для нас.

Это я впервые почувствовал в Барселоне. Когда узнал, что

¹⁸ Европейское космическое агентство: международная организация, созданная в 1975 г. в целях исследования космоса.

никогда больше не покину корабль, только после смерти. Ее я здесь смог очень хорошо рассмотреть. Сотни конусов-прищипей, серых, иногда коричневых. Это были маленькие, наверняка уже потухшие фланговые вулканы. Без них Джорджтаун вообще не существовало бы. Так что я увидел Джорджтаун еще в Барселоне. Уже там были *Lastotschkis*, они издавали кличи. Только я их тогда еще не слышал. Но Сознание пришло; можно ли сказать, что оно *снизошло на меня*? Ведь хотя это правда, что нас гасят, фрагмент за фрагментом, чтобы мы забывали. Но все же Сознание постоянно наполняет себя. Сознание замещает сознание. Для чего требуется время. Потому мы и путешествуем, я путешествую. От каждого места, до которого мы добираемся, оно что-то забирает с собой. Так что я теперь еще лучше понял мистера Гилберна, ведь это действительно комично, если Сознание ведет себя, как туристы, вечно гоняющиеся за сувенирами.

Называется ли этот город *Джорджтаун*?

Я не хотел возвращаться в каюту, чтобы посмотреть программу на день. В ней все всегда разъясняется. Но я понял кое-что поважнее.

Райский сад не был этим островом. Райский сад располагался под нами, был морем в его глубинах. Недоступность острова защищала его, сохраняла его богатства. Потому так ликовали *Lastivkis*. Конечно, еще и потому, что они на протяжении всей жизни пребывают в состоянии влюбленности. Но они могут это только благодаря тому, что на остров никто

не вправе высаживаться, *Staff only*. Потому что он – военная запретная зона. Потому что он сам и есть смерть. Которая всему – кроме нас, людей, – позволяет жить кто как хочет. Не один-единственный человек, так мне вдруг открылось, и даже не гарнизон, состоящий из людей, разрушает наш мир, пусть даже они вооружены до зубов и настроены исключительно на убийство. А тысячи, сотни тысяч туристов, которые топают по побережьям и должны питаться продуктами моря.

Англичане, подумал я, даже не знают, что они охраняют здесь не свою Англию и не западный мир. Они охраняют природу. При этом не играет никакой роли, англичане ли они, или немцы, или иракцы. Достаточно того, что они находятся здесь со своими бомбами. Что не позволяют другим тоже прийти сюда. Потому это справедливо, это правильно, что нас не пустили на берег. Что и ни один флот не вправе приблизиться, чтобы дочиста обезрыбить море. Ибо каждый корабль подозрителен, так оно и есть. Правда, в другом смысле, чем полагают англичане.

А потом они снова прыгали, дельфины, но на сей раз – только для меня одного. Я всегда испытывал страх перед смертью, всю жизнь, если говорить начистоту. Теперь этого больше нет, если смотришь на них. На них, в море, и туда вверх – где *Lastivkis* в небе. Я даже не боюсь больше умирания. Потому что это я теперь знаю совершенно точно – я умираю. Я знал это со времени Барселоны. Сознание и не

представляет собой ничего другого.

Разве что *здесь* оно становится светом.

Я поднялся, просветленный. Ведь сеньора Гайлинт сказала, что Ascension значит Вознесение. Тут я невольно подумал о Лестнице Иакова и – что все это я давно знал. Ведь хотя тот, кто обладает Сознанием, понимает любой язык. Но нам тяжело еще и произносить на нем слова. Языки в наших ртах еще по-настоящему к ним не привыкли. Они цепляются за движения, которые выучили на протяжении жизни. Ведь и пальцы любого человека, Катерина, так же приспособлены к игре на пианино, как твои. Но для начала нужно упражняться, причем много лет. Может быть, половину вечности.

Сгустились сумерки, и я уже не видел ни острова Ascension, ни даже мерцающей точки какой-нибудь лампы. Как бы ни вглядывался во тьму. – Никогда больше я сюда не вернусь. Поскольку я знал это, во мне поднималась печаль.

Тем не менее я не мог не улыбнуться. И уже не переставал улыбаться. Но улыбался помимо собственной воли. Так это ощущалось. Однако не *против* воли. Воля для улыбающегося таким манером не играет вообще никакой роли.

Так что и мистер Гилберн улыбнулся, когда я явился к ужину в «Вальдорф». Мне вдруг захотелось, чтобы меня обслужили. Вероятно, поэтому мистер Гилберн воскликнул: это, дескать, нечто совершенно новое – видеть вас в таком хорошем настроении! Вы выглядите прямо-таки довольным,

чтобы не сказать молодым!

Словно специально для меня, за большим круглым столом оставался свободным один стул.

Вы позволите, чтобы я представил вам леди Порту? – спросил тогда мистер Гилберн. Она мне только что рассказала, что знала вашего старого друга – вы уже поняли, о ком я, – причем еще в его, он запнулся, более ранней жизни.

В его жизни, подчеркнула эта невероятная женщина. Невероятная хотя бы из-за огненных волос. Я смутно припомнил, что однажды уже видел ее. Только вот когда?

Она протянула мне руку. И знающе взглянула на меня. По-другому я не могу это назвать. Респектабельно-огненных, невольно подумал я. Так оно и есть, сказала она. Мсье Байун и я жили вместе. В его последние дни в Танжере. Оба мы были людьми раннего лета.

Тут я ужаснулся до глубины души. Поскольку она сразу же сказала, что ей довелось сопровождать его в смерть.

7°33' ю. ш. / 15°7' з. д

Ночь.

И Кобылья ночь. Так хочу я впредь ее называть. Ты уже знаешь – из-за того созвездия. Я все еще не рассказал тебе, чем она закончилась, после того как я блуждал по всему кораблю. Когда это южное созвездие поднялось на дыбы, так что я от его копыт отлетел аж к «Велнес-Оазису». Приземлившись под дверью с надписью *Staff only*.

Так я и попал в вашу жилую зону, куда нам, пассажирам, доступа нет, даже и нам – ста сорока четверем. Хотя мы уже почти на той стороне. Но мне это не помогло, не только из-за халата и босых ног. А потому что я в самом деле уже не был хозяином своих чувственных ощущений и тем более своего духа. Который не мог больше ухватить ни одной ясной мысли. В любом случае по сравнению со светлыми пассажирскими зонами там, на уровне скулового пояса, было прямо-таки темно. Хотя проходы и там освещены, пусть и приглушенным светом. Так что моим глазам после *Staff only* поначалу пришлось к этому привыкнуть.

В конце концов я все-таки стал различать лампочки, еле теплящиеся над ближайшими – и последующими – металлическими дверями.

Они, вероятно, служат для противопожарной защиты. Для любого судна нет ничего хуже, чем открытый огонь. По-

этому я понятия не имею, как двинулся по направлению к корме. Проход с низким потолком вел вдоль стены «Велнеса» и дальше, мимо госпиталя, который предстал передо мной как страшная угроза. Она, эта угроза, мелькала, словно тень, которая с самого начала здесь присутствовала – то ли перед лампами позади меня, то ли позади них передо мной. Но не на полу, а на потолке. Там все переворачивалось вверх тормашками.

Так что я, можно сказать, вздохнул с облегчением, когда за ближайшей огнеупорной дверью услышал сперва бормотание, а потом выкрики и смех. Действительно, в проходе стоял едкий сигаретный дым. Из-за чего я внезапно кашлянул и поперхнулся, и поэтому раскашлялся уже по-настоящему. Я рыгал, пока желудок не выбросил вверх свой сок. И теперь я уже не мог крепко стоять на ногах, тем более – опираться на палку. Она просто отклонилась в сторону и упала. И тут я инстинктивно, как мне кажется, схватился за грудь.

Я пытался как-нибудь устоять на ногах, но ведь нужно было нагнуться за палкой. Я поскользнулся, хотя все еще держался за поручень. Все это, само собой, случилось еще и из-за бури, которая так швыряла корабль вверх и вниз, что в любом случае уже было трудно сохранять равновесие. А тут еще рокот машин, который доносится снизу, из стального чрева. И никакой другой опоры не было. Потому что Кобыла вздыбилась снова, но теперь действительно угрожающе, – эта гигантская разъяренная космическая лошадь. Глаза ее

искрились, как огненные шары, как кометы. Когда же они разгорелись, вверх поднялись дымовые грибы, а из ноздрей на корабль-грезу посыпались метеориты, каждый – как пламенеющая стрела.

Разумеется, сквозь переборки и палубные настилы ничего такого не было видно. Но я это чувствовал. Потом Кобыла всей своей тяжестью рухнула сверху вниз, чтобы передними копытами разбить палубу. Толчок был таким весомым, что я окончательно потерял равновесие и упал. И ударился головой. И все же ничего не почувствовал, никакой боли, даже от удара; был, может быть, уже мертвым, подумал я, Боже милосердный, позволь мне быть мертвым. Поскольку я чувствовал влагу, что-то клейко-сгустившееся на лбу. Может, мои очки разбились. Но еще и теплое ужасное струение по ногам. И как будто чудовищные, колоссальные руки трясли меня. Меня окликали, но издалека, через рупор, как я думал, – чтобы удержать здесь. Так что я все еще пытался ползти, уползти прочь, и мне даже удалось каким-то чудом перебраться через комингс ближайшей двери, которая была открыта, я уж не знаю почему. Оттуда веяло холодом. Воздухом, совершенно ледяным. Тем временем кто-то все продолжал меня тянуть, хотел этими титаническими руками оттащить назад. Тогда как все во мне думало: Прочь отсюда!

Пожалуйста, пожалуйста – прочь.

Как плачевно умирала моя бабушка. Она не могла обхо-

диться без перегибов. Только поэтому отказывалась от морфия. Корчилась от боли, эта суровая женщина, но еще и теперь, подыхая, наслаждалась преувеличениями, перегибами. Она ведь не плакала. Не пикнула даже. Это *не пикнуть* – тоже одно из ее словечек.

И как умирала мать, которая тоже не кричала. Она только неотрывно смотрела на стену. Все-таки однажды, в один из последних моментов бодрствования, она кое-что сказала мне. Я сидел рядом с ней в хосписе, чего я, однако, не хотел – не хотел сопровождать ее в смерть. Что общего было у меня, русского ребенка, с этой женщиной? Как она взглянула на меня и шепнула что-то, и в первый раз – думаю, в самый первый раз – взяла мою руку. И за нее притянула меня к себе, хотя была очень слаба, – почти к своим губам. Чтобы прошептать такую вот ложь: «Тебя я всегда любила. Никого другого, только тебя».

Это было настолько отвратительно, что я тотчас вырвался и покинул комнату. Больше я мать не видел. Позаботиться обо всем пришлось Петре – о мертвом теле и о необходимых бумагах. Я и на ее похороны не пошел, забыл даже год – 1988-й, 1989-й. Совершенно без разницы. Но об одном я всегда думал, сделал это уроком для себя: Так умереть, как они обе? Лучше я приму яд. Лучше брошусь под поезд. И вот теперь проснулся в корабельном госпитале, где уже заранее охладили одну из камер, куда меня запрячут, когда все будет позади.

Камер четыре, поскольку для маджонга требуются четыре игрока. Без них воробьиная игра – всего лишь пасьянс из ста сорока четырех костей. Но это еще и воробьи. К такому никто не готов, как и к тому, что результатом насилия может быть только ложь, снова и снова ложь. Нам, следующим, не остается ничего другого, как ради самозащиты продолжать лгать. И заходить в этом все дальше и дальше: за пределы нашей жизни, в жизнь грядущую.

И так во веки веков.

Куриноперьевая древесина. Понятие из того же разряда, что *клеточная батарея*. Когда у кур вообще больше нет перьев.

Воробьиноперьевая древесина, воробышковоперьевая древесина.

Фейноласточкиноперьевая древесина.

Есть времена года, которые не годятся для умирания. Осень, к примеру. Хотя я слышал, что очень многие люди такие попытки предпринимают.

Нет, ты меня неправильно поняла.

Тогда как уйти ранним летом – это как если бы чья-то правая рука еще какое-то время укачивала тебя на ладони. Чтобы успокоить, может быть, и чтобы кончики пальцев левой руки тебя немножко погладили. Так, что ты от этого уже почти засыпаешь и уже не видишь в происходящем плохого. А

даже *хотел* бы наконец отступить от всего. Если кому-то суждено такое, сказала сеньора Гайлинт, значит, он и есть тот, кого мсье Байун называл человеком раннего лета. Вас не должно смущать, что он употребил это выражение и применительно к вам. Между прочим, прибавила она, меня зовут Гайлинт. Леди Порту, значит, это просто прозвище и, как я подумал, почетное звание, данное ей мистером Гилберном. Собственно, выражение его глубокого почтения к ней.

Для него это действительно так и было, вспомнил я. То есть я вспомнил, что в самом начале нашей дружбы мсье Байун мне это сказал. Потому-то корабельный госпиталь и был сейчас для меня опасен. А не потому, что, как выразился доктор Бьернсон, третьего сердечного приступа я не переживу. Я в любом случае уже и того не понимал, что понадобилось директору отеля в госпитале, пусть даже и корабельном. Какую важность он на себя напустил! Он, может, и отвечает за мою каюту, и может распоряжаться Татьяной и всеми ее коллегами – но уж наверняка не больными. Он даже о здешних приборах ни малейшего понятия не имеет.

Но не только поэтому я подумал, что здесь я ни в коем случае умирать не стану. Не в этой искусственно освещенной темноте. Ведь прежде я должен выкурить одну из своих сигар. Это мое обязательство. Как и то, что при этом я буду смотреть на море. Поскольку, как выразился мсье Байун, человек должен *захотеть* умереть. И тогда уже будет бессмысленно продолжать заботиться о своем здоровье. Но, сказал

мистер Гилберн, в этом как раз и заключается комизм. Они, люди, из страха продолжают выкручивать шланг, в котором давно не осталось влаги. Ах, тихонько воскликнул он, избавь меня от рук тех, чье учение никому не приносит пользы!

Но не он, мистер Гилберн, а мсье Байун, которого давно уже нет с нами, коснулся моей правой руки двумя пальцами своей левой. Он, похоже, думал, что я задремал. Между тем он, собственно, не хотел меня будить и все же должен был. Он ведь сказал, что мне надо встать. Вам, дескать, нельзя оставаться здесь. Другие вас ждут.

О каких других он говорил? Сеньору Гайлинт, которая рассказала, как она рассказала мистеру Гилберну, что она родом из Португалии, я тогда еще не знал, а только его. Лишь позже, в ее присутствии, он просветил меня насчет того, что *Gygis alba*¹⁹ – вовсе не разновидность ласточек. О чем я, когда увидел их в первый раз, и сам подумал. То есть я, Катерина, дал тебе насквозь фальшивое имя. Ложь, снова и снова ложь.

Тем не менее я хочу и впредь тебя так называть, *Lastotschka*.

Дело в том, что в действительности это чайки. Но они так искусно летают! Кроме того, ложь получилась нежная – такая же нежная, Катерина-*Lastivka*, как твой язык. По крайней мере хоть это.

Но есть люди, продолжил свои объяснения мистер Гил-

¹⁹ См. примеч. на с. 43.

берн, которые считают этих фей совершенно отдельным видом птиц. Что похоже на правду. Но тогда тебя следовало бы называть *Kratschka* или, по-украински, *Kryatschok*, а ни то ни другое тебе не подходит. Между тем сеньора Гайлинт спросила, в самом ли деле это так важно. Разве вы не замечаете, что правда и ложь для нас мало-помалу сплавляются воедино? Нет – правда и сказка, сказала она. Это наша величайшая способность, сказала она, – превращать всякую ложь в правду. Только сперва хорошо бы нам обрести Сознание, подумал я. И тут она, будто отвечая на мои мысли, спросила: а уверен ли я в нашем корабле-грезе, уверен ли вообще? И, спросила она, – в себе самом, господин Ланмайстер? Ибо какую роль играет то, где человек находится. Она сама, во всяком случае, каждый день возвращается в Касбу – к ее маленькому, как она выразилась, берберу. И она, дескать, не задумывается о том, не сочтет ли ее кто-то помешанной. Ее он тоже называл человеком раннего лета.

Он, не хотевший теперь, чтобы я умер фальшиво.

Вы же хотите пойти в «Капитанский клуб», сказал он, сегодня вечером. Если вы будете тут лежать, это не получится. – Это он, правда, лишь прошептал, так близко к моему уху, что никто другой не услышал бы, и уж тем более – директор отеля или кто-то из санитаров. Но я почувствовал прокуренное дуновение его дыхания. В конце концов, там вас ждет Ласточка, чтобы сыграть вам кое-что. И не забудьте передать привет от меня сеньоре Гайлинт.

Меня удивило уже то, что мне позволили так просто взять и уйти. Может, они подумали, что, так или иначе, от этого уже ничего не зависит.

Правда, рано утром мои показатели опять были стабильными. Кроме того, в корабельном госпитале не хватает коек, так что мне даже не пришлось самому вытаскивать канюлю. Это сделал ирландец, Патрик, который иногда сидит снаружи с клошаром. Он не только починил мои очки, но и вообще относится к числу самых необычных участников этого путешествия.

Во-первых, он еще молод, ему только исполнилось пятьдесят. Но главное, он когда-то работал лесорубом в Шварцвальде. Это и сейчас заметно по его черной, хоть и с проседью, клинообразной бороде.

Само собой, тогда он был значительно моложе. Но что кто-то, прежде перепиливавший целые деревья, потом становится санитаром в госпитале, где ничего не надо пилить, — в этом ощущается именно тот юмор, который имеет в виду мистер Гилберн. Ведь здесь все, если оно не лежит уже изначально, падает само по себе. Вот что значит комическое, а вовсе не то, что представляет собой потеху, и только. Иначе это было бы легко. Поэтому не всякий человек, если он не обладает Сознанием, хорошо переносит комическое. Тут требуется определенная отстраненность, которая у Патрика, само собой, есть.

В такие молодые годы относиться к ста сорока четырем – по обычным меркам, думаю я, это должно сочетаться по меньшей мере с легким ощущением горечи. Но ничего такого по нему заметить нельзя. Он не признает никаких ограничений и все еще способен мечтать. К примеру, он всем сердцем стремится в Лиссабон. Имея в виду, что там он хочет еще раз сойти на берег. Со времен ранней юности это, дескать, город его мечты. Где он хочет первым делом купить себе парочку *pastéis de nata*²⁰, потому что от них человек делается счастливым. Он мне сразу и объяснил, что они собой представляют. Но мне это показалось опять-таки комичным: что пирожное с начинкой из пудинга может кого-то осчастливить.

Но в то утро Патрик еще не открылся передо мной. Только поэтому, *Lastotschka*, мне было так неприятно, что ночная катастрофа случилась в его присутствии. Я попросту не хочу, чтобы меня видели беспомощным. И что именно доктор Бьернсон заговорил о моем втором апоплексическом ударе, ситуацию отнюдь не улучшило. То есть он заговорил о моем втором инсульте, из чего видно, как мало он в этом разбирается. Ведь настоящего врача в ту ночь не оказалось на месте. Поэтому никто и не смог мне объяснить, как получилось, что хотя у меня и остались после первого инсульта парализованные нога и плечо... Я тогда несколько недель пролежал в больнице... Так почему же будто бы имевший ме-

²⁰ Пирожные с (заварным) кремом (*португ.*).

сто второй инсульт не оставил вообще никаких следов. Медику-любителю доктору Бьернсону такое не по силам. Вероятно, поэтому меня и отпустили в каюту. А сам я не настаивал на дальнейшем обследовании. Ибо мсье Байун тогда говорил мне прямо в душу. К Сознанию относится и понимание того, что ты должен испить всю чашу до дна. Получая при этом неторопливое, я бы даже сказал, обстоятельное удовольствие.

Потому я, так или иначе, задумывался о том, что все могло бы кончиться хуже. Во всяком случае, здесь тоже обнаружился некий скрытый смысл. Ведь не будь этой катастрофы, Патрик, вероятно, вообще никогда бы мне не встретился. И уж точно не признался бы, что он мне немножко завидует. Ведь я – так он выразился позже, во время концерта, – могу слышать музыку ангелов. Что я сразу счел такое высказывание преувеличением, об этом мне нет нужды тебе писать.

После того как за столиком для курильщиков была выкурена его сигарета, он проводил нас до «Капитанского клуба». Его санитарная смена к тому времени закончилась. Мистер Гилберн и сеньора Гайлинт тоже отправились со мной, тогда как клошар, само собой, остался снаружи.

Это был ваш каждодневный вечерний концерт. Патрик, похоже, действительно принял тебя за ангела. Однако я обладаю достаточным жизненным опытом, чтобы знать: ты так же мало являешься ангелом, как и ласточкой. Ты – молодая

женщина со всеми ее потребностями и ежемесячными кровотечениями. Так и должно быть у людей: они не чистые, а, как выражался мсье Байун, *амбивалентные*. Что подразумевает среди прочего строптивость, проявления несправедливости и даже алчность. Но также грезы и, в любом случае, заблуждения. Пока человек с годами и десятилетиями, если все пойдет хорошо, не станет просветленным.

Потому что чистота – только для старости.

Грустно, собственно, когда кто-то столь рано обретает Сознание. С Патриком это случилось. Это действительно следует назвать так. Лишь потому, что это настолько несообразно, он мог заговорить о музыке ангелов и даже позавидовать моей способности ее слышать.

Я несколько беспомощно огляделся по сторонам.

Рядом со мной слева сидел мистер Гилберн, справа – сеньора Гайлинт, а напротив – он. У стойки сидел вполоборота человек в светлом костюме и с бритой головой. Он почти развалился на барном табурете. Рядом с его бокалом лежал серебристый аппаратик с пунцово-точечно тлеющим диодом. Очевидно, он вас снимал.

Вы уже начали следующую вещь.

О которой я подумал, что, с одной стороны, это хорошо, если вы, хоть сейчас и играете Баха, еще не достигли подлинного парения. С другой стороны, мне мешало, что вы играете для нас, а не для себя. Поэтому отсутствовала интенсивность. Вы что-то выставляли напоказ. Я вообще не имею

представления о Бахе, но музыка, думал я, играет на любом инструменте исключительно для себя. К музыке ангелов это вообще не имеет отношения. Кроме того, существует ведь не только нежное и доброе. Злому тоже нужно куда-то прийтись. Если для него не находится места в музыке, как и в жизни, то все становится только горше, хуже.

Вы, однако, хотели проявить предупредительность – твоя подруга-скрипачка и ты. Дескать, людей пожилых не следует волновать без нужды. Поэтому серьезная музыка не должна быть по-настоящему серьезной. И вы заранее постарались подобрать для нас что-то подходящее. Как если бы мы не были взрослыми, прошедшими, поверь мне, через какие-то адские круги и там созревшими личностями, а снова стали детьми, которых нужно вести за руку, потому что они еще не знают жизни. Так что с ними играют в «горшочек-холодно-горячо» и в жмурки. Но вы думаете, мы этого не замечаем.

Замечаем, *Lastotschka*, и еще как. У нас просто нет больше сил, чтобы обороняться, а главное – нет тщеславия. Нам, в отличие от вас, все это представляется бессмысленным. Поэтому мы смотрим сквозь такие вещи: сквозь горшок, и деревянную ложку, и повязку на глазах. Мы видим насквозь и эти вещи, и вас. Но мы не позволяем вам этого заметить, чтобы вы сами не уподобились маленьким детям. Мы берем эту роль на себя. Это наш способ проявлять предупредительность, потому что вы, как и Патрик, еще не можете видеть

насквозь. Собственно говоря. Потому нам и не пришло бы в голову заговорить о «музыке ангелов». Уже по одной такой фразе ты, конечно, можешь заметить, насколько еще молод Патрик, хотя он и обладает Сознанием. И что ему еще предстоит повидать сколько-то морей на корабле-грезе.

Само собой, ему я этого не сказал. Ведь это, пожалуй, правда – что он никогда больше не сойдет на берег. Хотя и хочет сойти в Лиссабоне. Между тем молодой стюард или стажер – ну, ты уже знаешь, с такими глазищами – на сей раз в «Капитанский клуб» не пришел. Из-за чего я почувствовал некоторое облегчение.

Что на самом деле было глупостью.

Субботнецветное мерцание куска моря. Когда опять вдруг одна волна странным образом разгладилась, словно шелк. Натянутый поверх редчайшего бархата. Так можно погрузиться в текстуру шпона ночной тумбочки. Когда мой визитер в очередной раз начинает меня теребить. Моя бабушка называла это *обихаживать* и тоже всегда оборонялась против такого. Только и остается, что спуститься поглубже в дерево. Где ты укачиваешь себя в какой-нибудь пещере, вместе со всем кораблем.

Такое осуществимо не только с этой одной поверхностью для размещения каких-то предметов, но и, например, с тем столом, что стоит посередине моей каюты. И с какими-то креслами, и со стаканами, где бы они ни находились. Само

собой, это так же хорошо получается с картонными тарелками и фруктами. И даже с оконными стеклами. В них тоже можно себя укачивать, а не только в том взгляде, который ты, *Lastotschka*, может быть, обращаешь ко мне. И даже в собственном взгляде, хотя мы вынуждены признать, что сами его не видим. Он ведь сам и есть то, что видит. Как бы то ни было, это получается еще и со стаканчиком для зубной щетки, и с умывальником, и с комичной перчаточной мочалкой.

К примеру, я тратил целые часы, чтобы спуститься в тонкие резиновые перчатки, которые Татьяна надевает, прежде чем заняться уборкой. Иногда ей это удается не сразу, потому что они слишком тесные. Поэтому она по большей части сперва дует внутрь, в то время как я уже нахожусь там.

Перчатки надел и Патрик – само собой, другие, – когда помогал мне вернуться из корабельного госпиталя в каюту. Что на сей раз действительно потребовалось. Ведь хотя все на мне опять было в порядке, я теперь не мог по-настоящему двигать еще и правой ногой. Собственно, вообще не мог. О чем я, правда, никому не рассказал. Кроме того, трость госпожи Зайферт нашлась не сразу, а только в конце того дня. Прежде, когда меня понесли к госпитальной койке, кто-то отставил ее в сторону, и никто не запомнил куда.

Море опять волновалось. На протяжении всего пути мне пришлось бы держаться за стену или вообще ползти до своей каюты на коленях. Вместо этого Патрик стал моим подручным. В буквальном смысле, имею я в виду.

Поскольку Татьяну, само собой, уже известили, она всё подготовила. Поэтому все осколки и стеклянная пыль были собраны или отсосаны пылесосом. Она даже обняла меня и настаивала на том, чтобы я непременно лег. Чего я, однако, не хотел, а хотел я явиться к завтраку. Не для того, чтобы действительно что-то съесть, но потому, что нуждался в том, чтобы вокруг меня были люди. После такой Кобыльей ночи это становится настоящей потребностью.

Но поскольку я не разговариваю, я для начала сделал вид, будто уступил. Патрик это заметил и подмигнул мне. Идите же, сказал он Татьяне, я еще немного побуду с ним. У вас наверняка много других дел. В ответ она, с облегчением, как мне показалось, поблагодарила его и удалилась. Шурша своим халатом горничной. Довольно глупо, что она носит что-то такое. Тем временем Патрик, снова повернувшись ко мне, сказал: я знаю, как вам все это неприятно. Такого не должно быть. Кроме того, я считаю неправильным, чтобы вы лежали здесь в одиночестве. Но давайте подождем еще полчаса, чтобы у Татьяны не было неприятностей.

Для меня это было хорошо из-за моей ноги, то есть теперь уже из-за обеих. Ведь я теперь и левой рукой мог двигать с трудом. Может, вы рассказали бы мне что-то из своей жизни. Моя жизнь, подумал я. Но он, как если бы расслышал мой внутренний вздох, сказал, что имеет это в виду не в банальном смысле. Но, дескать, я охотно узнал бы, с каких пор вы это знаете. Когда вами овладело Сознание? Сам я пока

совершенно беспомощен в обращении с ним.

Из-за чего я уже тогда подумал: боже мой, он так молод, слишком молод. Так что рассказывать начал именно он; и, в силу обстоятельств, не мог не заговорить о своей болезни. Ведь что Сознанием обладают старики, можно, собственно, предположить заранее, тогда как если оно есть у людей молодых, это трагично. И тут требуется какое-то объяснение.

Правда, мне сегодня в голову пришла одна мысль, которая, если она соответствует действительности, возможно, касается и тебя. Дело в том, что, пока я оглядывался, каждая ручка, каждая доска, каждый дверной иллюминатор показались мне знакомыми настолько, что это простирается в мое прошлое дальше, чем возможно. И так было с каждым предметом. Даже узкие стальные трапы, и подвешенные шлюпки – в верхней части красно-оранжевые, – и даже разноцветные лампочки были для меня куда более привычны, чем если бы я просто видел их каждый день. Я имею в виду постоянную световую гирлянду, кабель которой натянут над всем кораблем – начиная от крайней оконечности бака, потом, высоко, над радаром и дымовой трубой и далее опять вниз, до самой дальней части палубы юта. Каждый отдельный спасательный круг я знал с каких-то более ранних времен, и каждый трос, и особенно – лица членов экипажа. Ведь если правда, что я еще прежде этой жизни находился на нашем кораб-

ле-грезе, то очень вероятно – в качестве члена *crew*²¹. Только тогда мы говорили не *crew*, а *экипаж судна*.

Как я с изумлением понял, я был тогда матросом. Или, что еще вероятнее, – корабельным плотником. Во всяком случае, я должен был что-то делать руками. Что-то, что сопряжено с островами Зеленого Мыса, к которым мы сейчас направляемся. Тогда это был наш опорный пункт. Возможно, дело обстоит так, думал я, что все прежнее исчезает, как только человек начинает свою следующую жизнь и в ней становится, к примеру, русским ребенком. Словно непрозрачной скатертью, оно теперь прикрыто забвением, которое будет сдернуто со стола только Сознанием.

И вот когда я после завтрака и моих размышлений о позапрошлой ночи шагал по променаду Галереи, навстречу мне шел Толстой со своей дошлой женой. При мне была трость госпожи Зайферт. Без нее, само собой, никаких хождений не было бы. Доктор Бьернсон самолично принес ее мне, это было еще вчера за завтраком. Так что я добираюсь до своей шлюпочной палубы и без Патрика.

Но тогда я еще был в проходе Галереи.

Моя спина болела, и плечо тянуло меня к полу. В такие моменты помогает, если ты просто не обращаешь на это внимания. Правда, для этого нужно обладать отчетливо выраженной волей. Которую Толстой, судя по его виду, на все времена утратил.

²¹ Судовая команда, экипаж судна (англ.).

Нет, к тому русскому писателю он никакого отношения не имеет. Но из-за столь же белой бороды похож на него. Кроме того, его портрет висит на той частично перегораживающей проход переборке, которая, напротив бутика, разделяет две группы столиков для отдыха пассажиров. Я имею в виду, само собой, писателя.

Оба как раз поравнялись друг с другом. Но в отличие от того, кто изображен на портрете, сегодняшний Толстой – худой, даже исхудалый. Каждый шаг удается ему лишь наполовину. Я бы сказал, что он семенит, если бы это не происходило так медленно. Кроме того, он должен опираться на ходунки. Которые двигает перед собой как бы под лупой времени. Обычно его в кресле-коляске повсюду возит жена.

В сущности, я обратил на него внимание только из-за нее.

Она намного, намного моложе. На тридцать, сорок лет совершенно точно. Тем не менее она тоже уже старая. Но, в отличие от него, еще вполне подвижна, причем всегда сопровождает его и присматривает за ним, усаживает его, приносит ему чай, гладит по волосам. Только к бороде он ее не подпускает, по крайней мере прилюдно. Надо сказать, она, на мой вкус, даже чересчур подвижна.

Все это не лишено смехотворности.

Она не только носит каждый день цветок в волосах и цветастые платья с гигантскими пестрыми – так это называется – аппликациями. Но и не пропускает ни одной вечеринки. Танцуя, высоко поднимает кисти рук и помахивает ими.

Кроме того, она громко смеется, но, само собой, не так, как та, другая, женщина, что всегда приходит в «Капитанский клуб», когда ты играешь на рояле. Ты уже поняла: та, что полисьи тьявкает прямо вовнутрь твоих прелюдий и не столько разговаривает, сколько рычит. У нее, пожалуй, нет никаких чувств, по отношению к другим людям уж точно нет. Но на вечеринках она танцует не так по-девчоночьи, как госпожа Толстая, а скорее как настоящая женщина. О таких людях тоже надо говорить что-то хорошее, по крайней мере время от времени. Они помогают тебе понять, насколько смехотворным делает себя тот, кто желает во что бы то ни стало забыть о близящемся конце. В чем и состоит главная цель вечеринок.

Хорошее в госпоже Толстой еще и то, что она напостила о моем, как бы это сказать, *неперсональном прошлом*, о котором я как раз размышлял. Ведь она уже тогда носила платья с такими, да, аппликациями. И уже тогда цветы были глянце-витыми и красными. Танцуя, она давала себе полную волю, как сегодня. Она вообще не изменилась. Причём люди еще в то время говорили, что такая-то — *отнюдь не дитя печали*. Это я знаю от своей бабушки. Которая тоже не упускала ни одного шанса. Я имею в виду, на островах Зеленого Мыса. Только Толстой положил этому конец, залепив ей слева и справа по звонкой пощечине. Это наверняка было слышно даже на вершине Пику. Потом он на ней женился.

Поэтому, с другой стороны, нет никакого чуда, если сего-

дня она ему мстит. Правда, она собственноручно возит его повсюду. Да только не он определяет куда. Иногда она просто оставляет кресло-коляску перед столом, и он вынужден беспомощно там сидеть. Это доставляет ей особое удовольствие. Она даже заигрывает, и не только на вечеринках, с другими мужчинами. Прямо у него на глазах. Точно такой она была уже тогда, на Фогу. Она – совсем юная, ему уже сильно за шестьдесят. Да только благодаря своей фазенде он был настолько богат, что мог заполучить все, чего только ни пожелает.

Я бы и сам хотел заполучить эту барышню. Но что такое простой плотник? В моей последней жизни, с полупроводниками, дела шли значительно лучше. Все же тогда я попытался. Она была вовсе не против. Я дамский угодник, и всегда таким был. Достаточно вспомнить о Гизеле. Но тогда речь не шла о том, смогу ли я ее обеспечить, поскольку Толстой был наилучшей партией, какую только может пожелать себе королевская полукровка. Без него она была бы доступной добычей для каждого, как и все рабы в то время. Но он не только ее защищал, а прежде всего не спускал с нее глаз, как комнатная замшевая собачка – нет, как замковый цепной пес. Ведь фазенда его выглядела как замок, но только с плоской крышей. Из-за чего мне, безбашенному, и пришлось немедленно дать деру – обратно на мой корабль и дальше, в голубую даль.

Из своих воспоминаний я перенесся, можно сказать, в но-

вый панический страх. Что он меня узнал или она меня. Ведь, возможно, она чего-то от меня хочет, снова или же *все еще*. Тогда как неизвестно, нет ли у него и сегодня пары-другой слуг-метисов, чтобы устранять из мира все, что становится для него проблемой. Возможно, он только притворяется перед ней, будто он уже не такой, как прежде. Я ведь точно знаю, как легко это делается. Достаточно вспомнить о Татьяне и о моем рыдающем визитере. Делать вообще ничего не нужно, кроме как молчать, просто молчать. И тогда они готовы поверить, что ты не вполне в своем уме. Если теперь еще и смотреть как бы сквозь них, они чувствуют, что их подозрения подтвердились. Толстой, тогдашний, был, во всяком случае, не тот человек, чтобы есть с ним вишни. Или правильное сказать – «пирожные»?

Этих двоих отделяло от меня не больше двух метров. Справа, сквозь высокие стекла, не было видно ничего, кроме Атлантики, неизменной Атлантики, ее все еще почти точной середины. Так что внезапно я счел повод для паники смехотворным и нисколько не боялся, что буду обнаружен. Ведь и Толстой смотрел как бы сквозь меня. А это верный знак, что даже если бы он еще мог говорить, он этого ни в коем случае не желает. Возможно также, что он давно увяз в своем притворстве, поскольку оно может становиться хроническим. Поскольку маска, которой оно и является, со временем прирастает к коже. Это, вероятно, и произошло с Толстым. Так что я почти решился заговорить с ними.

Бывает, что желание созорничать прямо-таки затопляет тебя. Хотя это, конечно, рискованно. Тем не менее у меня возникло, как выразилась бы моя бабушка, *охальное* желание обрушить на них безудержную тираду. О как прекрасно, что мы встретились здесь! Вы уже несколько раз попадались мне на глаза. Мы непременно должны познакомиться поближе! Но это действительно было бы легкомыслием, для которого я пока что чувствую себя слишком слабым.

Лучше уж я без единого слова позволю этой причудливой парочке пройти мимо.

Тут госпожа Толстая остановилась, чтобы поприветствовать знакомых, сидящих в креслах. Она громко воскликнула: *Виват!* и при этом ухватила мужа за воротник. Тот смотрел перед собой, на столик между рукоятками коляски. Тем временем возгласы женщины и ее, скажем так, друзей превратились в настоящий пароксизм шумного коллективного ликования. В котором я ни в коем случае участвовать не хотел.

Поэтому, чтобы не привлекать к себе внимания, я повернулся лицом к ювелирному бутику. В нем почти всегда сидит на барном табурете за высокой стойкой женщина, красивая совсем по-иному, нежели ты. В надежде, что продаст захваченные нами сокровища, она непрерывно печатает какие-то послания на своем мобильнике. Я еще ни разу не видел внутри ни одного покупателя. Вероятно, пассажиры проявляют осторожность по отношению к незаконному товару,

захваченному в ходе каперских рейдов. Они просто боятся, что и с их имуществом случится то же самое.

Это было, само собой, опять-таки в другом столетии – что я принимал участие в действиях каперов. К примеру, мне в глаза бросилось явное сходство мистера Гилберна с Барбею. Так мы всегда называли нашего корабельного кока. «Задница и борода». Пираты в своем большинстве не были людьми по-настоящему образованными. Поэтому они не заботились об изяществе, или тем паче благородстве, или хотя бы о правильности выбираемых ими выражений. От них-то и осталась на ресепшене привычка называть каюту совершенно неподобающим словом. Все, что когда-то было, оставляет след.

Мы должны только присмотреться, лучше всего – многократно. Тогда мы увидим, что все в своем первоисточке остается в точности таким же сохранным, как и корабль-греза, который движется на поверхности времени и по нему. От одного континента нашего *Я* к следующему. Само же время недвижимо. Только земли дрейфуют сквозь него, и мы – мимо них, может, мимо островов чуть быстрее. И каждый остров – лицо, которое мы узнаем, потому что когда-то уже стояли на тамошнем рейде. Конечно, всякий раз там оказывается парочка каких-то изгоев. Их мы берем на борт как новеньких. Другие, сами по себе, прежде хотели вести оседлую жизнь. Однако подверглись нападению викингов. Тогда как третьи потеряли все имущество из-за цунами, так что им

пришлось снова наниматься на корабль. Однако из них лишь немногие знали и знают, что это всегда, всегда одинаковый и даже один и тот же корабль.

За ним из своего киношного кресла наблюдает Время, и за мной тоже – как я стою в Галерее перед мерцающими драгоценностями. С моей продолжающей болеть спиной, и этим дурацким плечом, и почти негнушимися ногами.

О чете Толстых я почти забыл.

Мне хотелось рассматривать через стекло это бледное под волосами Белоснежки, пугающе бледное лицо молоденькой продавщицы. Как она понапрасну сидит за своим высоким прилавком и, чтобы занять время, возится с мобильником! Но один раз она подняла голову. И тогда ее светлые, как водный источник, глаза обратились на меня и благодарно мне улыбнулись – за то, что я ее хоть немножко отвлек.

Это ей следовало бы сделать лет пятьдесят назад! Увы. Тогда я бы зашел к ней и потребовал поцелуя, но только с участием языка, и глубокого, и никогда не кончающегося.

Все-таки если мысль о разных Прошлых человека правильная, значит, я уже однажды видел тебя. В какой-то из прежних жизней. Поскольку мы с незапамятных пор находимся на борту, а некоторые из нас побывали здесь уже не один раз. Иными словами, попадали сюда снова и снова. И не только ты, нет, но и я сам, возможно, когда-нибудь вновь окажусь на нашем корабле-грезе. Спустя долгое время после того, как покину его. И вспомню себя опять, когда обрету

Сознание.

Без которого все было бы навсегда потеряно.

Понимание этого – вот в чем заключалась тайна мудрости мсье Байуна. Теперь она перешла ко мне. Потому что он оставил мне в наследство воробьиную игру. Но если все это правда, *Lastotschka*, то, возможно, она станет ласточкиной игрой, в которую я буду играть с тобой. Притом что сами мы, возможно, не будем об этом знать. Между прочим, ты, *Lastivka*, еще этого не осознала.

2°49' ю. ш. / 16°45' з. д

В завесе из света колеблются плавники манта, как шевелится под бризом любая кайма. Но они плывут не вниз, в воде. Нет, они плывут на высоте моих глаз, прямо перед протяженным леером. И все же они не летают. А именно плывут так высоко, что даже пена, слетающая с гребней волн, не достает до них.

Этим, вот уже час, я всецело заморожен. Поэтому едва ли замечаю визитера, который сегодня опять навестил меня. Теперь уже он все время держит мою правую руку. Очевидно, не понимая, что от меня в ней вообще ничего нет.

В этом тоже можно натренироваться – как устраняться из собственного тела. Нужно только, к примеру, сосредоточиться на этих удивительных мантах. Они тоже справились с этим, устранились. Правда, из воды, а не из своих тел. Для них речь, собственно, идет о необходимом им воздухе.

Все-таки пока что мой визитер не плакал. За это я ему благодарен. Так что мне не придется устраняться еще и из собственных ушей, я смогу и дальше прислушиваться к ветру. Как он идет и идет.

Но что меня всегда так скептически настраивало по отношению к переселению душ – это что люди, по их утверждениям, почти всегда были раньше Клеопатрой. Или Александром Великим, или Мухаммедом Али, который еще имено-

вался Кассиусом Клеем, когда моя бабушка вставала каждую ночь. Ей это доставляло гигантское удовольствие – когда кому-то в кровь разбивали нос. Она стуком в стену вытаскивала соседей из кроватей, и все собирались у нее перед телевизором. Где восторженно взрывывали «Вау!», когда у кого-то лопалась бровь. И пили под это дело «Фабер-кристалл».

Эти люди предпочитали держаться в ближайшем окружении Клеопатры. И таким образом придавали себе хоть немного значимости. Никогда ни один из них не был, как раньше я, простым плотником или тем паче гробовщиком в какой-нибудь лесной деревушке. Или одним из тех, что имелись раньше у вас: крепостным крестьянином, которому не хватает хлеба, чтобы досыта накормить себя и своих. Нет, чаще всего такой человек претендовал, самое меньшее, на роль Марлен Дитрих.

Никто не хочет признаться, что в прошлой жизни был Гитлером, – что раз и навсегда подрывает идею переселения душ. Тем не менее теперь я знаю: это не фокус факиров – когда они годами держат руку поднятой в небо, так что вся кровь от нее отливает, но они тем не менее не становятся больными.

Только рука через некоторое время, само собой, сильно усыхает. Так что я, собственно, надеюсь, что визитер мою руку отпустит. Мне она еще пригодится, для трости госпожи Зайферт. И чтобы продолжать писать это письмо, потому что я хочу отмечать для тебя все, что представляется мне

достойным внимания, а главное — обдумывания.

Хотя ты не сможешь это прочесть, я решил, что тетради после моего ухода должны быть переданы тебе. И потому что он самый младший из тех, кто обладает Сознанием, я попрошу об этом Патрика. Ведь сам он еще не собирается уходить — и в этом смысле, по крайней мере, еще далек от нас, обладающих Сознанием. Что и делает его пригодным в качестве предьявителя.

Я бы не хотел передавать их тебе сам. Правда, пару дней я надеялся, что мы сойдемся ближе. Но это так же смешотворно, как танцующая с возгласами радости пожилая дама. Кроме того, ты теперь несвободна. Я об этом подумал с первой минуты — что красивый стажер тебе подходит. Так что вчера вечером я нисколько не был удивлен.

Ты уже поняла: когда вы после очередной вечеринки пригласили меня к себе. Не только меня, нет, еще и мистера Гилберна. Наверное, Патрик, который уже сидел с вами, рассказал о нас. И вы захотели с нами познакомиться. А в конце концов к нам присоединился и этот молодой человек со светлыми глазами и зубами такой же белизны, как его корабельная форма.

В ночи рокотали популярные шлагеры. Но звезд видно не было. Вместо них на теплом настиле палубы все еще лежал день. Даже когда стемнело и только световое шоу что-то подсвечивало, да еще на палубу юта падал розовый свет от декоративных колонн в кормовой части палубы мостика. Над

которой обычно играют в мини-крокет.

Я только самую малость вздрогнул, когда ты встала и, прежде чем уйти, быстро провела рукой вдоль уха твоего красивого друга. Как если бы туда соскользнула прядь его русых волос. Но она никуда не соскальзывала. А он на какую-то долю секунды сжал твои пальцы.

Так он стал победителем аукциона твоих поклонников. Ты еще была в том же платье, что на концерте, и в этих туфлях на высоком каблуке, которые я всегда так любил видеть на женщинах. Женские узкие лодыжки трогали меня больше, чем когда-либо — чья-то душа.

Вероятно, ты сейчас думаешь: какой похотливый старик, — но ты заблуждаешься. Ведь они меня трогали, как чья-то душа и даже как воплощение души. Сексуальным влечением это не было никогда, это было что-то другое. Но когда человек не способен по-настоящему чувствовать, ему остается только телесность, и именно для того, чтобы он что-то почувствовал.

Что-то у меня сейчас получилось много подчеркиваний. Это, *Lastotschka*, смысловые акценты.

Откуда я, собственно, знаю, как звучит это слово в единственном числе? Русское множественное число у меня, во всяком случае, было неверным. Говорят не *Lastotschkis*, а без «s», просто *Lastotschki* — если их много. Тем не менее я в этот момент заметил, что влюбился я не в фей, а в тебя. Феи должны были лишь подготовить меня к встрече с тобой.

Уже хотя бы поэтому я не хочу, пока жив, отдавать тебе свое письмо. Когда же меня здесь не будет, мое детское чувство, вероятно, вызовет у тебя улыбку или даже радость. От него тебе тогда будет хорошо, ведь оно совсем ничего не станет от тебя требовать. Оно и надеяться ни на что не станет, даже втайне. Потому ты сможешь его принять. Даже от такого, как я. Но пока я еще здесь, оно будет для тебя бременем и в конце концов, неизбежно, назойливостью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.